РОВЕСНИК



РОВЕСНИК

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
ЦК ВЛКСМ И КОМИТЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1962 ГОДА

Август, 1978 год, № 8

ГАВАНА, XI ВСЕМИРНЫЙ

Материалы о стране фестиваля и ее людях читайте в этом номере



*На первой странице обложки: что такое фестиваль? Это дискуссии и манифестации, песни и улыбки, праздник и труд, это картина из будущего жизни на земле, это ростки мирного будущего для всех сегодня. Это вера в него. Так что же такое фестиваль? Улыбка этой юной кубинки **вам** скажет об этом лучше всяких слов.*

Материалы этого номера, посвященные Кубе, подготовлены выездной бригадой корреспондентов журнала «Ровесник» в составе **И. ГОРЕЛОВА, А. ЗЕМЛЯНИЧЕНКО** (фото), **Ю. ЛЕКСИНА.**

Главный редактор А. А. НОДИЯ
Редакционная коллегия: В. Л. АРТЕМОВ, С. М. ГОЛЯКОВ, И. В. ГОРЕЛОВ (зам. главного редактора), О. А. ГОРЧАКОВ, В. А. ГУСЕЙНОВ, М. А. ДРОБЫШЕВ, В. П. МОШНЯГА, Д. М. ПРОШУНИНА (ответственный секретарь), Б. А. СЕНЬКИН

Художественный редактор О. С. Александрова
Оформление И. М. Неждановой
Технический редактор В. Н. Савельева

Адрес редакции: Москва, 125015, Новодмитровская ул., 5а.
Телефон 285-89-20. Рукописи не возвращаются.
Перепечатка материалов разрешается только со ссылкой на журнал.

Сдано в набор 16/VI 1978 г. Подп. к печ. 24/VII 1978 г. А06188.
Формат 60×90 1/8. Печ. л. 3 (усл. 3). Уч.-изд. л. 5,7. Тираж 470 000 экз. Цена 25 коп. Заказ 1055.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, ГСП-4, Сущевская ул., 21.

МОЛОДЕЖЬ СТРАНЫ СОВЕТОВ ПО-БРАТСКИ ПРИВЕТСТВУЕТ СВОИХ СЛАВНЫХ КУБИНСКИХ СВЕРСТНИКОВ, ОТДАЮЩИХ ВСЮ ЭНЕРГИЮ И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭНТУЗИАЗМ МОЛОДОСТИ ВЕЛИКОМУ ДЕЛУ ПОСТРОЕНИЯ НОВОГО ОБЩЕСТВА. МЫ ТВЕРДО УБЕЖДЕНЫ, ЧТО XI ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯВИТСЯ НОВЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ ШИРОКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ И МОЛОДЕЖЬЮ КУБЫ — ПЕРВОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ ЗЕМЛИ.

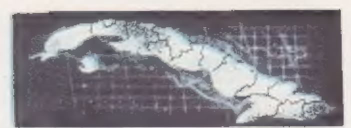
Из обращения XVIII съезда ВЛКСМ к молодежи мира в связи с XI Всемирным фестивалем молодежи и студентов в Гаване.

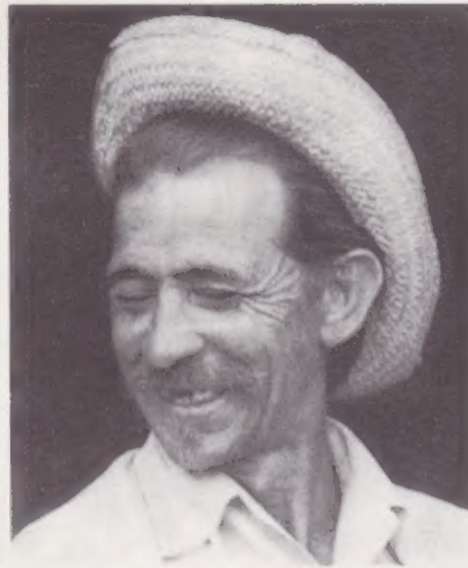
КУБА И ЕЕ НАРОД НЕ ПОЖАЛЕЛИ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ОТВЕТИТЬ НА ТО ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВОЗЛОЖЕНЫ НА НЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ: ОРГАНИЗОВАТЬ XI ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ В ЗАПАДНОМ ПОЛУШАРИИ.

БОЛЬШОЕ ЧИСЛО МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ, И МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ УЖЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ В СВЯЗИ С ФЕСТИВАЛЕМ НА РАЗЛИЧНЫХ ШИРОТАХ ПЛАНЕТЫ, УКАЗЫВАЮТ НА РАСТУЩИЙ ПРЕСТИЖ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И НА ОБОСНОВАННОСТЬ ЕЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ.

Из резолюции IV пленума Союза молодых коммунистов Кубы о подготовке и проведении XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов на Кубе.















ФИДЕЛЬ КАСТРО, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КУБЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА И СОВЕТА МИНИСТРОВ:

Нашей стране выпала честь провести очередной Всемирный фестиваль.

Это накладывает на нас большую ответственность, особенно если учесть, что это первый фестиваль, который состоится в западном полушарии. Это событие имеет важное значение для международного революционного движения, для молодежного движения, для движения в Латинской Америке и для Кубы.

Мы рассматриваем этот фестиваль как выдающееся событие для нашей революции, для всего народа и особенно для молодежи.

Мы верим в нашу молодежь, гордимся ею, ее достижениями в области образования и общего развития.

Многие зарубежные гости покидают нашу страну с глубоким впечатлением и восхищением от наших школ, всей нашей программы развития образования, от молодежи. Именно эта молодежь и должна стать главной силой в проведении фестиваля. Но, конечно, и фестиваль послужит сильным стимулом для дальнейшего развития нашего юношества.

Мы помним ту атмосферу, в которой проходил Всемирный фестиваль в Берлине. В нем принимала участие и кубинская делегация. Мы помним тот подъем, который охватил всю нашу страну. Тогда казалось, что праздник фестиваля пришел к нам на Кубу.

Легко представить, что значит для нашей страны, для нашей молодежи проведение Всемирного фести-



валя на нашей родине. Не думаю, что нужно долго объяснять огромную политическую важность этого события для всего народа и особенно для молодежи.

Самое главное состоит в том, что все мы глубоко чувствуем свою причастность к фестивалю, рассматриваем его как наше общее дело, касающееся каждого из нас, и мы вложим все силы в общее дело фестиваля.

Все мы чувствуем большую ответственность, испытываем большую гордость от того, что нам предоставлена возможность непосредственного участия в организации этого события.

(Из выступления на учредительном заседании Национального подготовительного комитета XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов)

АЛЬБЕРТО РОДРИГЕС АРУФЕ, СЕКРЕТАРЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СМК КУБЫ:

Молодежь, весь кубинский народ с энтузиазмом и радостью готовятся к XI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится на нашей родине.

Сейчас... все наши усилия направлены на то, чтобы создать наилучшие условия для юношей и девушек, которые приедут к нам из разных уголков планеты. В подготовке к фестивалю мы опираемся на помощь и сотрудничество братских молодежных организаций социалистических стран, международных и региональных организаций. Мы пользуемся возможностью, чтобы еще раз выразить нашу благодарность Ленинскому комсомолу, всей советской молодежи за эту поддержку.

(Из выступления на XVIII съезде ВЛКСМ)



FERIA XI FE
MUSICA ALE
VENTA DE AR
DOS Y D
la noche
E ES









смотрите:

Подвальчик назывался «Шангри-Ла» — земля счастливых людей. С полуденного солнца мы вошли в него, как нырнули. В прохладной темноте едва виднелись тлеющие стекла абажуров, и на них — в стекле и из стекла — огромные порхающие бабочки. Совсем густой тенью у стены темнели квадраты столиков.

Когда кто-то входил и отворялась дверь, свет гаванского дня влетал бесшумно и яростно, как луч прожектора, ослепительный и дрожащий; бабочки на абажурах испуганно темнели. Но луч гас так же внезапно, срезанный дверью, как и возникал. В Гаване берегут тень и умеют наслаждаться ею.

Но за дверью лежала Гавана, и жалко было времени. Уют прохладной темноты не удержал нас, мы вышли, впустив в «Шангри-Ла» луч, и увидели все, что видите здесь вы...

У выставок есть одна особенность, сообщать которую можно лишь с улыбкой сожаления, но и не сообщать нельзя, потому что это высшая похвала выставке дельной. Дело в том, что на этой выставке **надо быть.**

Нельзя же и впрямь рассказать о том, как из яйца вылупляется цыпленок и, покачиваясь и дрожа, по спинам таких же желтых, но уже вылупившихся собратьев идет неизвестно куда и зачем... А это происходило тут, в одном из павильонов. Стоял инкубатор, и в нем совершенно по-настоящему весь месяц появлялись цыплята... (Вы не хотите ли, как эта девочка при нем, работать на ферме?)

Текстильный станок на ваших глазах — да что там на глазах, вы все можете сами потрогать, прямо руками! — из тонких ниток создавал плотное чудо ткани. (Может, это вам подойдет больше? Нет? Как хотите!)

И можно трогать, именно можно, ничто не возбраняется. Трогайте же! Трогайте скорей! Времени мало. Вам уже четырнадцать... Вы даже еще не знаете, как его мало.

Гонсалес и его корабль

Как ни удивительно, но на острове, который сам плывет на картах мира, как корабль в океане, эта профессия, можно сказать, новая. В порту так нам просто сказали, что еще два десятилетия назад редкий кубинец выходил в море за рыбой, и то это занятие скорее напоминало спортивную охоту, чем хорошо налаженную добычу. (Хемингуэй своим «Стариком» ненароком доказал и это.) Больше того, на острове вы до сих пор часто услышите фразу, которая невольно поразит вас: «Кубинцы не любят рыбу». Потом, правда, чуть смущенно поправятся: не очень, мол, любят. (Меню кубинца — это вообще особый разговор. Рыба рыбой — в конце концов, можно и не любить ее, но что вы скажете, когда узнаете, что, например, фрукты, которые на острове растут, кажется, сами собой, тоже не самый любимый продукт. А национальное блюдо кубинцев — в буквальном переводе оно звучит как «мавры с христианами», так как это мелкие черные бобы с белым рисом, — так оно составлено из продуктов, которые до недавних пор вообще не росли тут, а были привозными. Теперь, правда, растут.)

Но Хосе Гонсалес, кажется, выбрал себе профессию раз и навсегда. Море, похоже, во все времена звало к себе людей одного и того же склада, и в этом складе романтизм был совершенно необходимым элементом, пусть даже в минимальной дозе, как соль в морской воде. Хосе высок, с круглым детским лицом, которому, понятно, пока не хватает мужественности, но это дело наживное; он с юмором и привлекательность своей профессии определяет двумя словами: она красива и интересна.

Корабль его неподвижен. Рядом с ним посверкивает красным огнем ослепительно оранжевый буй, а под боком — уже готовый — полощется под ветром спасательный плот, и на нем со всех сторон выведено одно и то же: «На десять человек!» Целыми днями мальчишки лазают в него, доказывая себе и другим, что на плоту может поместиться куда больше народу. Наверное, при необходимости так оно и будет.

Один борт корабля-павильона стеклянный, и там среди приборов, нарочито не обращая внимания на мальчишек, чуть покачиваясь — все-таки корабль! — ходит Гонсалес.

— Когда это с тобой случилось, Хосе? — спрашиваем мы его.

— Мне было тринадцать лет... Нет, — быстро поправляется он, — уже четырнадцать. Я ходил и смотрел на море.

— Это ведь было так недавно...

Он возмущен, но сдержанно и строго возражает:

— Очень давно.

— Года три назад?

— Все-таки два.

Теперь мы складываем в уме четырнадцать и два, не желая делать это вслух.

— А в чем все-таки красота и интересность, Хосе?

Он удивлен, что это можно не понимать или делать вид. Вокруг нас собирается толпа. Плотная. Все глядят только на него, и теперь самое главное дело будущего «капитана Гонсалеса» не дать сбить себя с толку. Вольная команда «бунтует», подтрунивает, но для него это привычное дело. С указкой он кидается от прибора к прибору и говорит, какое это чудо — каждый из них: двигатель, прокладывание маршрута, определение местонахождения... А это по звездам... А это если...

— И ты уже ходил в море?



КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ



— Нет, — замирает он. — Пока только теория.

— И в ней тоже красота?

— Может быть, самая большая.

Команда «побеждена», она присмирела, но еще не сдается. Кто-то помогает нам:

— А нет ли у тебя морской болезни?

— Не знаю, — теряется капитан. Он честен.

— А вдруг?

— Все равно не уйду. У Нельсона, знаете, тоже была морская болезнь, но это не помешало ему стать адмиралом.

Еще одна победа.

— Да, но у Нельсона всегда под рукой был серебряный тазик...

— Я еще запасусь.

— А серьезно, Хосе, как ты зовешь ребят в свою профессию? У тебя уже есть какие-то свои маленькие секреты?

— Просто пытаюсь рассказать, насколько все непросто на корабле. Но секрет, если хотите, есть... Я рассказываю, почему все-таки корабли плавают, а не идут ко дну. Вожу ребят от прибора к прибору, пока они или убегают от меня, или остаются. Тогда оставшимся я говорю секрет.

— А нам?

— Я еще подумаю.

— И твое самое большое желание?

— Чтобы ребята поступали в мою школу, в школу рыболовства. Там готовят офицеров рыболовного флота. Они будут плавать по всем морям мира.

— А настоящие моряки уже были у тебя?

— Да. Только для меня это был как экзамен.
— И что ты получил за него?
— Я побоялся спросить.
— А что они рассказывали тебе?
— Морские истории... Они шли в Гибралтаре, был шторм и туман. Они чуть не столкнулись с другим судном.
— И тут ты им показал приборы, которые могли бы спасти их...
— Нет, я спросил: «И что же?»
— И что же?
— Они не столкнулись.
— Хосе, а как ты думаешь, какие качества нужны ребятам, чтобы стать моряками?
— Во-первых, надо закончить девятый класс... Быть революционером, быть дисциплинированным.
— А характер?
Толпа вокруг нас действительно, как и говорил Хосе, таяла. Но были и оставшиеся — капитан Гонсалес должен был открыть им секрет.
— Надо быть серьезным и сильным, — сказал он.

Диас и его взгляд

Выставки, как правило, интересны тем, что после них происходит нечто такое, что до них или без них было бы невозможно.
Это взгляд Пилото Диаса, он работает в министерстве образования в отделе профориентации, на выставке же возглавляет бригаду гидов.
Подобные выставки, говорит он, были и в прошлом. Но эта самая обширная. Те были более специализированными, а потому узкими. Сейчас под общим руководством министерства образования другие министерства создали свои павильоны. Получился тот самый случай, когда принцип «каждый за себя» вылился в привлекательность. Но далеко не случайно, так как каждое министерство располагает для подобной работы специальным фондом. К тому же это было необходимостью, так как это выставка привлечения к профессиям, которые особенно нужны Кубе сейчас или будут нужны в ближайшем будущем.
Но есть и еще цель. Это узнавание того неизвестного, что сейчас происходит в обществе: к чему, например, сейчас у молодежи самый больший интерес? Какие профессии ее особенно привлекают и почему? Только узнавание этого уже прекрасно оправдало бы выставку. Интерес далеко не праздный, так как в дальнейшем предполагается не перенаправлять этот интерес, а учитывать его, естественно, учитывая и интересы развития хозяйства.
— Не трудно ли было найти гидов для такой обширной выставки? — спросили мы. И тоже не случайно: ребята чувствовали себя настоящими хозяевами всего происходившего.
— В основном ребята со старших курсов пединститута, политехнического института, из политехнических школ. Но много с младших курсов. Всего двести пятьдесят человек. Работают в четыре смены, так что устать здесь трудно. К тому же отобраны ребята, которые уже умеют совмещать работу с учебой, и это совмещение не только не мешает им, скорее нравится... Мы рассуждали так: человек, еще недавно выбравший свою профессию, он и лучший агитатор за нее. Для такого человека привлечь другого, почти своего сверстника, в свою область знаний — это даже престижно. Возможно, для него это более желательно, чем для человека, который уже закончил вуз. Тут психологическая тонкость: начинающий, как правило, полностью убежден в правильности своего выбора, в единственности своей профессии. Он еще очарован ею.
— Но ведь потом он может разочароваться... Тогда выйдет, что он звал, обманываясь?
— Ну и что? Ведь он же звал других... Тех, которые, возможно, будут очарованы всю жизнь.
— И каков все-таки результат?
Выставка уже работала месяц. Мы были на ней трижды и видели, как гиды в павильонах вручали каждому посетителю проспекты и еще карточки — их надо было заполнить с полной откровенностью, и смысл их был единственный — понравилась вам эта профессия или нет? Но было еще одно: избежать искренности в ответах было попросту невозможно — карточки вручали вам не с угрюмостью человека уставшего, выполняющего что-то нелюбимое и надоевшее, их давали вам как подарок, как в мечте Ильфа и Петрова милиционеры на перекрестках вручали детям апельсины.
И все-таки мы хотели мгновенного эффекта: а каков результат первого дня? А второго? И зря Пилото Диас хотел бы это-





го, но понимал, что лучше быть терпеливым и внимательным, чем быстрым в суждениях и ошибиться: выставка еще продолжалась.

— Решение не может быть мгновенным, — настаивал Диас. — А вдруг вам только показалось, что лучше всего стать хирургом? К тому же здесь привлекательно многое, если не все. Учтите еще и возраст... Так что не переоценить бы этих мгновенных ответов, понимаете?

— И все-таки какие-то профессии более привлекают. Какие?

— Станкостроение... Рыболовство... Военные профессии...

Это говорило ему о многом, но главное заключалось в том, что до недавних пор подобного интереса на Кубе просто не могло быть.

Зная, что сам Диас по профессии механик, мы не без умысла спросили:

— А какой павильон, на ваш взгляд, самый лучший?

— Машиностроение, — в этом у него не было и тени сомнения. — Ну, конечно, и другие очень хорошие, — засмеялся Диас. — Не подумайте, что я не сознаю этого. Мне ведь положено сознавать.

— А день? Какой день выставки был для вас самым примечательным?

— Когда мы поставили рекорд. На прошлых выставках рекорд дня был двадцать семь тысяч посетителей, а у нас был день, когда к нам пришло тридцать тысяч двадцать девять человек. Наши ребята порывались тут же отыскать на улице еще одного, для ровного счета. Но нельзя, неэтично.

— И еще, Пилото... Кто и когда к вам приходит?

— Утром идут школьники. Днем, как бы сказать вам, идут люди посерьезней. Это уже почти сверстники наших гидов. Идут выбирать, присматриваться.

— А вечером?

— Влюбленные и иностранцы. Не только они, конечно, но посмотрите сами...

К сожалению, мы принадлежали лишь ко вторым.

Влюбленных звали Нестор и Светлана.

Лестница была пустынна — только они вдвоем в водяной пыли водопада, обнявшись. И шум воды, тоже сплетенный с музыкой.

Не нужно большой изобретательности, чтобы объединить водопад с музыкой но чтобы соорудить водопад в городе... Наверное, для этого надо иметь хороший вкус — иначе или город не подойдет водопаду, или водопад не украсит его.

В Гаване этого не случилось. Выставка так и начинается — водопадом. С зеленых замшелых камней, с высоты третьего этажа, в музыке и свете, у всей улицы на глазах, невыключаемый — водопад нельзя выключить на ремонт или на ночь! — струится вода, и у нее совершенно свой — водопадный звук, которому безразлично, насколько удачно к нему подобраны звуки другие и подобраны ли они вообще. Лестница полувинтом огибает его, невидимые брызги крошатся в пыль, и эта пыль в духоте гаванской ночи неожиданна, как подарок. Это и вход на выставку, это и выход, если вам хочется выйти здесь, потому что выставка открывается потóм перед вами почти под открытым небом и так же бесплатна, как хождение по берегу океана или улице.

Для них это был выход, но они стояли в водяной пыли, похоже, не собираясь оставлять водопад никогда.

— Откуда вы? — заранее улыбаясь, спросил он нас.

Он спрашивал про город — то, что мы русские, он понял сразу, и мы поняли, что он понял это. Но раз спрашивал про город, это очень много значило, и, во-первых, то, что он знал другие города у нас, больше того, жил там — но сколько, где, зачем? Все это было в одной улыбке его и еще в этих двух словах: «Откуда вы?»

Конечно, так и вышло. Пять лет... Училище связи... Всего два года назад... Ульяновск...

— Такой город... — говорил он, глядя сквозь нас, — не могу забыть. Наверно, и захочешь — не забудешь. Я все письма пишу. Даже тем, кому и не думал писать никогда, пишу... Может, кто-то приедет на фестиваль. Может же быть такое, правда?

Мы соглашались.

— Я уж решил, — говорил он, — все дни буду искать... Может, не знакомых, о своих я бы все-таки знал, других — вдруг они будут знать моих. Ведь может быть такое?

Нам почему-то казалось, что такое действительно может быть, и даже очень просто — гора с горой, мир тесен, — пустяки, конечно, одни уговоры самого себя, но тогда, у водопада, точно казалось: непременно это будет.

— Найду, — твердо сказал Нестор. — Кого-нибудь, а найду.

— И что тогда?

Спрашивать это не следовало — Нестор улыбался: то, что с ними произойдет, с Нестором и тем, кого он найдет, принадлежало лишь им.

— А здесь что делал, на выставке? — спросили мы.

— То же самое, — усмехнулся он своей же наивности, — ищу. И потом павильон тут есть — наш, вот ее водил, рассказывал.

Светлана не понимала русского, но чувствовала, что разговор о ней. Нестор ничего не переводил ей, только обнимал — легко и нежно, очень привычно обнимал, почти супружески. И это тоже так и оказалось.

— У нас сын родится, — уверенно сказал Нестор. — Владимиром назову.

— А почему Владимиром?

— Меня там так звали в Ульяновске, Владимиром... Владимир, Владимир, так я и был Владимиром пять лет. Привык ужасно. Она, когда меня очень любит, — взглянул он на Светлану, — тоже Владимиром называет.

— А часто? — не удержались мы.

— Часто, — вдруг ответила Светлана.

Оказывается, не так уж она не знала русский.

Фернандес и его детство

В его воспоминаниях о детстве была единственная радость. Та, что оно прошло.

— Революция победила, мне было семнадцать лет, а я еще не окончил семи классов, — сказал он. И потом добавил единственное: — Трудно было дома. Тяжело.

Больше он не вернулся в свое детство ни одним словом.

Марио Фернандес не отказывался говорить об этом, не укорял нас в любопытстве и не говорил обиняками, но просто не слышал нас, когда мы пытались вернуть его в его детство, как не слышат абсолютно глухие. Тем удивительней было, что он так охотно говорил о детстве других. Тут он слышал даже больше, чем мы спрашивали. Собственно, он сказал нам о выставке и очень удивился, когда мы ответили, что не знаем о ней и еще не были там. «Возможно ли это?» — спрашивал его взгляд, когда он посмотрел на нас.

Марио Фернандес был членом партийного бюро провинции Гавана. Провинция по кубинским масштабам огромная, в ней происходило многое — начиная от сафры и кончая хотя бы тем заводом, на который мы и ехали, когда разговаривали с Марио (цементный завод строится с помощью Советского Союза, первая его очередь давала продукцию, и уже виден был конец стройки, когда Куба, по расчетам, должна была достигнуть высшего мирового масштаба производства цемента на душу населения — пятисот килограммов), так что, естественно, дел у Марио было множество, дела образования в провинции не были его прямой обязанностью, и все, что он знал о них, и сам интерес к ним, происходили от чего-то другого — может быть, как раз от той единственной радости — минувшего детства.

Вполне может быть. По крайней мере, когда мы спросили его, хотел бы он учиться в нынешней школе, он, удивленный не вопросом, а самой невозможностью мечты, только и сказал:

— Да. — Потом снял очки, протер их, совершенно чистые, и еще раз добавил: — Хотел бы. Теперь вы спросите, почему?

— Конечно.

Нехитрость диалога чуть забавляла его.

— Во времена моего детства были безработными тысячи учителей. А в это время двести тысяч детей не учились совсем... Спросите их, уже взрослых, хотели бы они учиться в нынешней школе.

— А теперь?

— Сейчас только у нас в провинции больше ста школ. Учителей не хватает. Причем настолько, что около шестидесяти процентов их еще студенты... И все-таки почему? Я все о том же «почему?». Я лично пошел бы из-за уровня знаний. Качество того, чему учат, не видно тому, кто учится. Но потом-то его хорошо видно. Я, по крайней мере, вижу это точно.

Меня вообще интересует нынешнее поколение. О нем говорят много и очень по-разному — ведь многое зависит от того, кто говорит. Но типы таких характеристик все-таки существуют. Один бы сказал, что нынешние ребята хорошо учатся. Другой — что хорошо работают. Третий — в зависимости от взглядов — скажет, что они работают много. Действительно, может показаться и так. В обычной школе, например, работают по четыре часа в день. В провинции не хватает рабочих. Ребята работают в консервной промышленности и на поле, и норма школьника — половина нормы крестьянина. Много? Трудно сказать. Мы строим не только материальную базу социализма, мы строим само сознание. Вот главное. И если ученик понимает это, тогда прекрасно. Мне кажется, понимают. То есть что значит, «кажется». Это так. На самом деле так. Вот только как можно, не возвращаясь в свое детство, попасть в нынешнюю школу? Научите меня.

Мы не могли.





ДОЛГИЕ РАДОСТИ САФРЫ

На всей Кубе около ста пятидесяти сентралей.

Сентраль Сандино, в который мы попали, расположен приблизительно в пятидесяти километрах от Гаваны. В отряде — он носит имя XI фестиваля — 600 молодых людей: 300 из провинции Гавана, 300 из столицы. Все они добровольцы. Там, на их основной работе (впрочем, очень трудно говорить, какая из работ во время сафры более основная), норму за них выполняют оставшиеся.

За сафру каждый из них оставит на поле два мачете — они сотрутся так, что от широкого десятисантиметрового лезвия останется половина.

Каждый мачетеро износит две пары обуви — ботинок, очень похожих на наши лыжные. Таких, которые износить невозможно.

У каждого изорвется буквально в клочья четыре пары штанов и курток.

Каждый похудеет приблизительно килограммов на пять, и у каждого та рука, которая держит мачете, станет намного сильнее другой. Если вы сожмете руку в кулак и потом потрогаете ее, то поймете, какие мышцы у мачетеро становятся к концу сафры каменными; таким мышцам позавидовал бы любой каратист.

ОНИ УБЕРУТ ОКОЛО 20 МИЛЛИОНОВ АРРОБ САХАРНОГО ТРОСТНИКА. СТОЛЬКО, СКОЛЬКО В ЭТОМ СЕНТРАЛЕ НИКОГДА НЕ УБИРАЛИ, СДЕЛАВ ЭТО В ЧЕСТЬ XI ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ.

...Они лежали на краю поля, не шевелясь. Все шестеро знали, что теряют самое дорогое время — утро и прохладу, и это не беспокоило их совсем. Еще слышна была машина, ползшая за холмом, там, где маячили пальмы. Она и привезла их.

Но они не глядели в ту сторону. Они смотрели на поле, сквозь него, потому что это был самый край — косой угол поля уходил в сторону, посадка на углу была узкой, с противоположной стороны ее ограничивала белая каменистая дорога, но ее не видно было. Просто они о ней знали. Видно было море. Утреннее море, еще не слепившее глаза. К полудню оно закипит светом солнца, и тогда на него не захочется смотреть, как никому не приходит в голову в пустыне глядеть в полуденное небо.

Тростник был неподвижен, и море тоже только угадывалось — голубыми осколками меж неподвижных стеблей. Но этого было достаточно, чтобы лежать и знать, что море там.

Когда несколько лет спустя человек, никогда не видавший сахарного тростника, — это будет один из нас — спросит Рафаэля о радостях сафры, Рафаэль сощурит глаза и посмотрит быстро и пристально: стоит ли ему говорить о том, как они лежали тогда на краю поля? Будет ли это понятно ему хоть немного?

Но тот человек будет молча настаивать, и тогда Рафаэль ответит:

— Однажды мы лежали на краю поля и просто смотрели... Это было утром.

— И что? — спросит тот человек недоуменно.

— Это было очень хорошее поле. Только и всего.

Рафаэль будет тогда носить бороду. Черную, огромную. И это произойдет в Сандино. Он тогда не решит для себя, что понял тот, спрашивающий, из того, что он сказал ему.

Они лежали потому, что им не хотелось трогать это поле. Они знали, что скоро войдут в него и срубят его быстро — оно было маленькое, — и от него ничего не останется. И уже не будет осколков моря. Будут лежать ровные ряды срубленного тростника...

Но это была удивительная земля — на том поле. Она не рожала сорняков. Это был идеал земли — он и редок был, как идеал, — потому что эта земля выносила из себя только сахар, словно была наполнена лишь сахаром, и тростник рос на ней ровный и огромный, и сквозь него можно было смотреть. По крайней мере, вот здесь, на углу.

Уже пятый месяц они работали на сафре, но такое поле попалось им впервые. До этого им доставались куски с поваленным тростником, увитым внизу жесткой травой. С вечера кто-нибудь из них не уезжал домой, а оставался там ночевать. Чаще всего оставался он, Рафаэль, или длинный худой Нельсон — у Нельсона это была двадцать вторая сафра, и лучше их вряд ли кто мог сделать то, что надо было сделать ночью, и сделать так, чтобы еще успеть поспать. Надо было понять ветер, который будет дуть всю ночь, выплеснуть немного керосина на краю и подожечь поле. Потом можно было, уже засыпая, глядеть, как огонь бежит огромной красной волной, сжирая жесткую подстилку внизу, то вдруг замирает, задумываясь, бежать ли ему дальше или погаснуть, умереть. Огонь не трогал тростник, у него не было сил зажечь стебли, полные сока. Он пробегал, как ветер, вместе с ветром. Но лучше все-таки было не спать.

Тот человек еще спросит очень смешную вещь: задумывался ли когда-нибудь Рафаэль, сколько раз ему приходится взмахи-

вать рукой? Нет, не за четыре его сафры, хотя бы за день?

Это действительно смешно, если бы ему хоть однажды пришло в голову задуматься над этим... Но потом он чуть не скажет ему про огонь, потому что тот спросит его, чем он занимается между сафрами.

— Я моряк, — ответит Рафаэль. — Ловил креветок, ловлю рыбу.

Рыба — это тоже огонь.

Но это поле не надо поджигать.

И все же он думал и об огне, когда глядел на осколки моря.

На маленьких баркасах они уходили в темноте в море. Они шли, и их окружали вода и ночь, и воды и ночи было так много — вокруг были только вода и ночь, и поэтому казалось, что границы между ними не существует. Может быть, ее и не было. По крайней мере, до тех пор, пока они не зажигали первый фитиль. Баркас плыл и оставлял за собой краснеющие огни фонарей, словно эти огни вытягивались из темного нутра баркаса, как нить из кокона. К первому поплавку с масляным фонарем крепили капроновый шнур толщиной в мизинец, и теперь все, собравшись на палубе, начинали вязать к шнуру огромные крючки — такие большие, что, глядя на них, невозможно было вообразить, что какая-то рыба сможет проглотить их. Потом на крюк нацепляли соленую рыбину и бросали ее в море. И она шлепалась в темноту мертво и плоско, так ударяется только мертвая рыба. Когда в море уходило с полсотни крючков, на воду осторожно опускали новый фонарь... Нить из кокона тянулась, и вскоре за бортом уже лежала длинная цепочка огней. Масляно-красные, они освещали только себя.

Теперь надо было не спать и глядеть на эти огни — кто первый увидит, как рыба погасит огонь. Уже по тому, как она сможет перевернуть поплавок с фонарем — если ты удачлив и увидишь это, — можно было догадаться, какая это рыба. Или думать, что догадываешься. Не думать об этом было просто невозможно. Но еще надо было быстро идти к горящему рядом с погасшим фонарю.

Однажды его рыба (это он увидел, как она погасила фонарь, и поэтому это была «его» рыба) перевернула два огня. Она должна была быть огромной. Когда им удалось убить ее и поднять, хвост ее свешивался за борт, не умещаясь на баркасе, а тело обнимало рубку, прижимаясь к ней как к чему-то живому... Им удалось победить ее на рассвете.

Тот человек еще спросит, надо ли быть обязательно сильным, чтобы выдержать семь месяцев сафры.

Вряд ли.

— Мало от этого зависит, — ответит Рафаэль. — Тут от чего-то другого...

— От чего же?

У людей есть странная привычка стремиться узнать точности, которых не существует или которые все равно не расскажешь, сколько ни употребляй слов. Стремиться узнать их и не стремиться узнать то, что действительно точно и что единственно нужно знать.

— Все-таки от желания, — скажет Рафаэль. — Меня не сравнишь с Нельсоном... Ты скажешь, я сильней? А я не знаю. Действительно не знаю.

Ему и впрямь никогда не приходило в голову сравнивать, сильней ли он других. Никогда на сафре не было соревнований, даже шуточных, в которых бы люди желали узнать, кто же из них самый сильный.

Другое дело, когда тот человек спросит, кто из них работает красивей — он или Нельсон?

— Все-таки Нельсон, — и Рафаэль поглядит на Нельсона. — Конечно, Нельсон.

— И в чем эта красота?

Это опять было то же самое — то, чего нельзя рассказать.

...Сильная была рыба. Сейчас, когда он лежал и смотрел на поле, ему вдруг вспомнился тот странный момент. Когда они втаскивали ее, уже почти мертвую — уже знали, что она их, она не уйдет, и значит, она тоже это знала, — тогда ему показалось вдруг, что она помогает им — помогает, чтобы они наконец подняли ее и не мучились сами, и не мучили больше ее, потому что хватит уже.

Ему действительно показалось тогда, что она поворачивалась так, чтобы им было удобней, а они, горячие от борьбы с ней, еще не понимали ее и снова ошибались, и тогда она, понимая их ошибку, снова помогала им.

— Море и сафра, — спросит тот человек. — Когда же ты бываешь дома?

— Но в море только ночь... И потом, когда идешь утром с рыбой... Да и сейчас тоже: каждые две недели можно съездить домой, даже на два дня.

— И есть дети?

— Девять, три и семь лет, — очень быстро ответит Рафаэль. — Девочка и два мальчика.

— Он победитель не только на сафре, — скажет худой Нельсон, видя, что приехавшие уже не знают, что еще можно узнать о сафре.

Но будет еще один вопрос:

— Рафаэль, если бы тебе хотелось узнать про сафру, что бы спрашивал ты? То же самое?

Они переглянутся с Нельсоном: кто скажет — ты или ты?

— То же самое, — ответит Рафаэль.

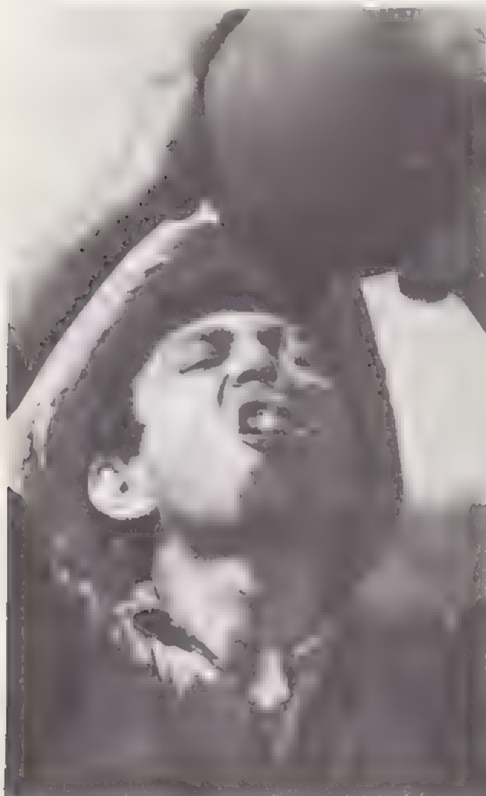
— То же самое... и еще что?

Они засмеются.

...Еще надо было поправить мачете. Оселок скользил с тонким птичьим свистом, а Рафаэль все взглядывал на поле. Но уже не так, как только что, когда лежал. Все-таки хорошо, что еще утро, и этого утра впереди было много, и он знал, что, когда Нельсон объявит перекур, он не сядет и не ляжет, иначе потом тяжело будет вставать. Вообще в перекуры ложатся только новички, но и они скоро понимают, что делать этого не стоит.

Еще он был рад, что как раз вчера сменил штаны. Куртка была еще ничего, а штаны уже ломались. Пропитанные соком, почерневшие, они только что не звенели, когда он снимал их по вечерам или надевал утром.

Поворачивая мачете, он с удовольствием чувствовал, как давно не болят и не ноют мышцы — поначалу эта боль мешает даже спать, и утром встаешь так,





как будто и ночью размахивал руками. Теперь же было хорошо и легко.

Еще он думал о том, куда его поставит Нельсон. Удобней, если он пойдет по краю, потому что когда стоишь между двух, то все же тесновато. Хотя все равно он уйдет вперед. На человека они выделили четыре ряда тростника. Но ряды не всегда росли точно, чаще они путались, и, отмеряя себе самому свою долю, а особенно уйдя вперед, надо было быть щедрым и лучше вырубить лишний куст у соседа, чем оставить свой. И Рафаэль знал, что так и будет.

Он даже знал, о чем будет думать, когда начнет уставать. На своей первой сафре он и не догадывался, что можно заранее намечать себе мысли и, например, когда устаешь, лучше не думать о доме. Особенно если скоро поедешь туда и уже ждешь этого. И еще нельзя позволять себе думать, сколько осталось тебе кланяться этому тростнику сегодня, — вечер все равно придет, это уж точно.

И еще он совершенно точно знал, что ему осталось износить всего одну форму, и тогда он любому сможет сказать, что у него за спиной на одну сафру больше.

ДЕСЯТЬ МИНУТ С МАЧЕТЕ

Ну как же не подержать в руках мачете!

Соблазн этот, кажется, прямо пропорционален расстоянию, которое ты проделал, попадая на Кубу. Так что чем дольше вы летели или плыли, чтобы попасть на это поле (и чем меньше вы способны почувствовать, что же такое сафра для человека, держащего в руках мачете, не шутя с ним), тем соблазн этот более велик.

К тому же этот завораживающий вид огромного ножа...

Он сверкает сабельным блеском — жутковатым и притягивающим блеском стали, отточенной до невероятной остроты — такой, что совсем не тянет потрогать и попробовать эту остроту рукой. Едва ты прикоснешься к острию пальцем — и точно! — из твоего пальца брызнет — не может не брызнуть — твоя кровь. И тогда еще сильнее хочется попросить: «Ну, дайте же подержать!»

И вам дадут мачете. Это так же верно, как и то, что очень скоро вам захочется вернуть его, и вам будет неловко это делать. Иначе чего же вы так просили и невольно протягивали руку, даже не замечая своего движения, если так скоро хотите избавиться от того, чего желали столь сильно?

На сафре привыкли к таким просьбам. Похоже, их даже ждут, к ним готовы с той замечательной нескрываемой готовностью, с которой во все времена любой мастер, если он мастер, готов дать попробовать свой инструмент. Думаю, ему даже интересно поглядеть (ведь ничто человеческое, как известно...), как это можно умудриться так неуклюже выполнять то, что вот только что сам мастер делал так прекрасно. Отдать свое орудие, видеть чужую неумелость, естественно, стараясь не показать своего явного превосходства — да и что тут показывать, все и так видно, и лучше всего тому, кто попросил ваш инструмент, — в этом маленьком удовольствии, думаю, трудно отказать себе. Да ведь вы и действительно просите, вы же хотите. Так нате! И вам протягивают мачете рукояткой вверх. Осторожно и в то же время очень просто — как палку...

Догадываясь об этом удовольствии, которое я вот сейчас, неловко перевернув мачете, буду доставлять мастеру, я тоже решил получить удовольствие. Это была маленькая хитрость вполне откровенного обмена, открытого и ясного.

— Знаете, — сказал я, — но вы будете говорить вслух, что думаете. Смотреть и говорить — хорошо?

Мастер засмеялся. Я еще смотрел на него и видел, как долго его губы подрагивали в улыбке. Он работал на сафре много лет. Я знал то первое, что он должен был сказать мне, но не сказал. Мастер был деликатным. Он не сказал: «Положи мачете». Я был благодарен ему за то, что он не произнес это вслух. Это надо говорить каждому, кто, приезжая к ним в гости, просит у них сверкающий сталью огромный нож и получает его. Это надо знать, и тогда все твое уважение к их невероятному труду выразится в понимании, что брать мачете нельзя. Ведь никто же не осмелится взять у мастера кисть...

Но мачете-то уже в руке...

Мне надо было вначале разобрать завал. Тростник в этом месте лежал на черной, обгоревшей земле. Я разбирал его, ловя себя на каждом ударе, когда нож уходил в землю, увязая в ней острием. Сознаюсь, я боялся испачкаться, и только то, что я понимал, как смешна эта боязнь, может быть, немного извиняет меня. И я боялся ударить себя...

Я знал, что надо было приехать сюда с рассветом и быть с ними весь день до тех пор, как начнет гаснуть день. И, может быть, тогда попросить мачете. Но он уже в руках...

Всей спиной я слушал и действительно, казалось мне, слышал все те слова, которые усталый мастер должен был говорить мне и не говорил. И особенно те — главные: «Положи мачете».

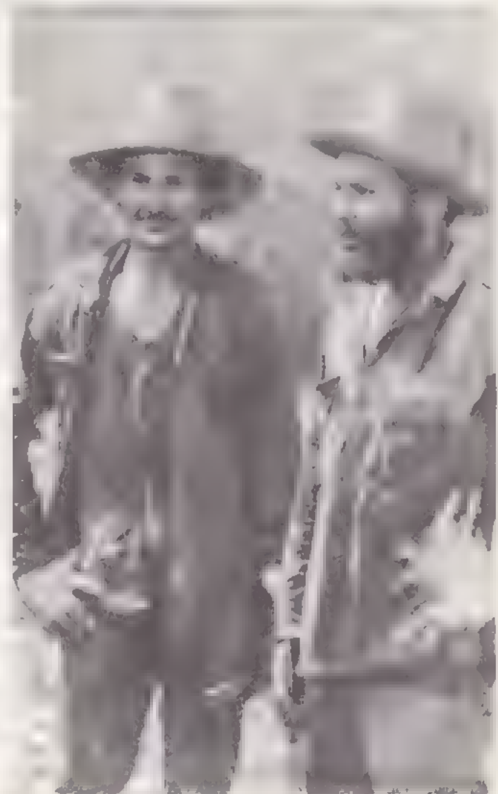
Я пробирался сквозь завал с элегантностью бегемота, все время видя перед собой тот первый среди поваленных высокий и прямой стебель, который я хотел срубить красиво и думал, что сумею сделать это. Я рвался к нему, как честолюбец к мечте. Но не успел. Почувствовал, как кто-то мягко положил мне на плечо руку. Это мог быть только ОН, мастер. Он не выдержал.

— Здесь самый сахар, — сказал он. И показал на торчащие у земли обрубки тростника — мои обрубки.

— У самой земли — самый сахар, — только и сказал он.

Я не заметил, как мачете оказался у него в руках. Но ясно видел, что мы все, стоящие рядом, были довольны, потому что это было единственно правильное решение, только сделанное десятью минутами позже.



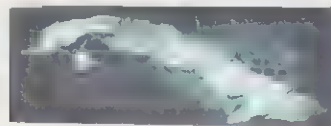


Не считая пяти лет, которые я провел у вас. А дома старые. Теперь они уже становятся старинными.

Нас было трое детей. Все сыновья, и все непохожи. Умберто блондин, вы увидите, а младший темный, как я, но худой и длинный-длинный. Говорят, что на отца больше всех похож я. Младший стал инженером-электроником, работает в Академии наук Кубы, а старший, кстати, работает сейчас в Национальном подготовительном комитете фестиваля. Там есть такая комиссия — технического и материального обеспечения фестиваля, и он в ней. Он пишет, что очень много работы...

А мама покажет вам одну фотографию. На ней отец. Не знаю, как он осмелился тогда сделать это, но он привез из Москвы маленькую фотокарточку, одну-единственную. Я давно уже не смотрел на нее, но точно помню: на ней Мавзолей — еще старый, по-моему, деревянный. Ведь он был когда-то деревянным, да? Потом там есть немножко стены — кремлевской. Это какой-то праздник. И там отец. Он приезжал в Союз нелегально. Кажется, это было начало тридцатых годов. О фотографии никто тогда не узнал, но тут же узнали,





КОГДА ВЫ ПОПАДЕТЕ НА МОЮ УЛИЦУ...

— Не знаю, где вы будете жить... Если в «Гавана-либре», то это четыре минуты пешком — как раз между Масон и Басаррате. Так и называется: калье entre Масон и Басаррате.

Хуан рисует улицы, по которым не ходил уже два года. И не умещается на листе.

— Вот лестница Гаванского университета. Ее ни с чем не спутаешь. А это уже Басаррате. Идите по ней. Пройдете один перекресток, второй, третий, четвертый. Будет двухэтажный дом. На втором этаже вас встретит моя мама. Там живет Умберто, мой брат; недавно переехал. В Лаутоне нам было тесно. Но мама осталась в старом доме с младшим сыном. Все равно вы застанете ее здесь. Она все время живет с Умберто, они поздно возвращаются домой, у них трое детей. И у всех, кстати, беленькие головки. Да вы все увидите сами... Мама очень строгая и серьезная. Вот такая, — и Хуан делает серьезное лицо, пытаясь показать, какая у него мама. — Но она любит гостей и любит тех, кто меня любит. Как все мамы. И потом она очень интересуется Советским Союзом. Здесь был отец и вот теперь я. Я напишу вам письмо, мама приготовит обед...

— Что вы, Хуан...

— Нет, нет, так и будет. Не сопротивляйтесь!

— Сдаюсь. И еще мы бы посмотрели улицы вашего детства.

— Ничего особенного. Это Лаутон. Маленькие улочки, все знакомы, и все стоят у дверей. Или сидят. Это по вечерам. И смотрят на детей. Обыкновенный маленький рабочий район. Там я родился и живу уже двадцать восемь лет. Много. откуда вернулся отец. Его посадили. Умер он позже. Это было уже после победы революции. У него была травма позвоночника, его ударили тогда в тюрьме. Меньше всего он, кажется, думал, что умрет от этого удара. Боль прошла тогда, помоему, даже быстро и долго не возвращалась. Ему казалось, она никогда не придет, но она вернулась... Отец не воевал в горах, его работа была в Гаване. Мама расскажет об этом лучше.

— Хорошо, Хуан. А вы расскажите о себе—том, прежнем.

— Но это так далеко...

— Не дальше вашей памяти, Хуан. Вы ведь человек двух поколений, в пятьдесят девятом вам было девять... Кстати, у вас больше имен, чем может позволить себе даже кубинец... Хуан Хосе Ферро Кастро. Так?

— Да, это был спор при моем рождении. Никто не хотел уступать. Отец хотел назвать меня Хуаном, а мама — Хосе. И вот я Хуан Хосе.

— Удобно?

— Привычка. Многие так вообще знают меня как Ферро. Это фамилия отца.

Я уже понял, что мы все время будем возвращаться к его отцу — он не мог к нему не возвращаться.

— Мы и жили на его заработок. Отец был плотником. Но мама помогала ему — подрабатывала шитьем. Нас было трое, не очень-то поработаешь, и все-таки даже в самые лучшие времена она не бросала свое шитье. Мама всегда знала, что завтра может быть хуже, и еще неизвестно, что будет с отцом завтра, тогда ее заработок мог стать для нас единственным. Так в конце концов и случилось. Правда, старший брат очень рано начал работать. Надо было помогать матери. А мы с младшим все еще учились. Было трудно жить. Но в шесть

десят третьем году нас с братом взяли в интернат. Мы жили там на всем готовом и приезжали домой в гости.

Не знаю, только ли моя это особенность, но из того самого детства до этих счастливых возвращений в свой дом, как в гости, в моих воспоминаниях остались почти одни огорчения — те самые детские обиды, которые в детстве кажутся трагедиями. Они безысходны, и кажется, что во взрослости им нет равных. Даже потом, когда уже относишься к ним с иронией, все равно они остаются трагедиями. Наверное, это закон детства, и поделать с этим ничего нельзя. Нельзя же, например, вернуться в свое детство и подарить себе — тому маленькому — футбольный мяч...

— И это был именно мяч?

— Да. Больше всего я любил футбол. И я мечтал о мяче... Знаете, выйти из дома и вроде бы случайно нести его под мышкой. «Неужели твой? Врешь!» Я только пожимаю плечами. «Отец купил?» — «А кто же еще!»

Мяч стоил безумно дорого. Мне покупали другие игрушки, они были дешевле. Мне объясняли, что купить мяч пока невозможно... Это «пока» — ненавистное «пока», которым взрослые хотят успокоить своего ребенка и думают, что он успокаивается. Я просил и просил.

— Действительно просили, Хуан?

— Да.

Он опускает взгляд и твердо, с какой-то невыразимой жестокостью к себе повторяет:

— Просил. Все время. — Хуан поднимает глаза. — Я понимал, отец не может мне его купить. Я изо всех сил старался играть в те игрушки, которые мне все-таки покупали. Те самые, которые были дешевле мяча. Но потом я не выдерживал и снова просил. Это происходило само собой. Как только я видел глаза отца, когда он говорил, чтобы я подождал, мне становилось нехорошо. В эти мгновения я бы, не задумываясь, вернул свои слова и никогда их не произносил. Но проходило время, и я опять просил...

— Это случилось?

— Нет.

Мы сидели с ним в моем доме, и перед нами был небогатый стол, но он мог бы украсить все его детство. И мое послевоенное тоже. Заодно. Но мы были уже взрослыми.

— Так мне теперь и не забыть все это, — сказал он. — И главное, глаза отца, когда он отворачивался и говорил: «Подожди». И гладил меня по голове. Как все-таки поздно понимаем мы это!

— Хорошо, если вообще понимаем, — сказал я.

Он кивнул.

— А вообще вы были ласковым ребенком? — спросил я.

— Нет. Ласковость — это все-таки тихость. Или хитрость. А я был, что называется, нехорошим. Я все время дрался. Все время. Если бы отцу или матери пришло в голову каждый раз выяснять мою правоту или неправоту, они бы просто сошли с ума. У меня был тяжелый характер. Потом мне говорили: «На твою голову не могла сесть даже муха. Ты бы и с ней подрался». Я все хотел решить кулаками. Мне казалось, что это самое быстрое и легкое.

— Но ведь и вас, наверно, поколачивали?

Никак он не мог понять это «поколачивали», а я почему-то не отступал. Сошлись на примитивном:

— Чего же у вас больше: побед или поражений?

— Сказать правду — нескромно, — похоже, чуть деланно смутился он.

— И все же.

— Побед все-таки больше. А у вас?

— Поражений.

Он смотрел на меня с сожалением, и я видел, как он хотел заглянуть в меня глубже, но он заранее и несправедливо решил, что весь наш разговор — это для меня «работа», он так и сказал и теперь не мог спрашивать.

— И у вас сохранился такой характер? — спросил я.

— Слава богу, нет. Какой смысл драться? По-настоящему победить в драке можно только врага, — сказал он с непривычной жесткостью. — С человеком надо быть человеком, а драться только с врагом.

— Когда же вы прониклись столь моральной точкой зрения?

— В интернате. И не очень добровольно. Там было жесткое правило: тех, кто дрался, выгоняли. Я не мог позволить себе быть выгнанным. Я стал понемногу соображать...

Ему хотелось уйти из своего детства, как он ушел из него в жизни, но он опять вернулся в него.

— Старики из нашего квартала, которые помнят меня, говорят, что я был еще и уважительным. Может, им приятно так думать, не знаю. Но, похоже, это действительно было так. Я не был хулиганом, а это все-таки хорошо видно. Я был уже взрослым и вдруг слышу однажды: старуха на улице укоряет ребят, не знаю уж, что они там наделали. Только слышу, она говорит про меня и еще про одного парня: вот, мол, когда мы были такими же, то и безобразничали больше, а все-таки не так. «Вот те раз», — подумал я. Оказалось, ей нравилось, что мы тогда не отговаривались. Сказали нам — мы опустили головы и пошли. И нет нас. Пусть до завтра, но нет. Взрослым ведь мало надо, их вполне устраивает внешнее послушание, им так спокойней. Но я-то подумал вот что: такое ли уж оно было внешнее? Все не так просто. Если можно говорить о нашем общем детстве, то оно было слишком тяжелым, и мы испытывали больше страха. Старуха ведь вспоминала не только обо мне, она обо всех говорила, кому сейчас как мне. Да и не одна она так вспоминает.

Но мне очень повезло с отцом. Он влиял на меня сильно. Я и характером на него похож. Помню, после революции мне было девять лет, а через год, когда мне исполнилось десять, отец взял меня с собой, и мы вместе пошли в народную ми



Два снимка. Один сделан в Москве, другой на Кубе. Умберто с дочерью Милдред на коленях. Кармен. Барбаро — они зовут его Беби. Маленький Алексис — сын Умберто. Роза — невестка Кармен. Еще один Умберто — тоже сын Умберто. Все в сборе, нет Хуана — младшего сына Кармен. Он учится в Москве.

лицию. Это не было игрой. У меня был настоящий маленький автомат. Мы все время тренировались. Были такие походы — назывались они походы милисиано: полностью готовым к бою надо было пройти шестьдесят два километра. Идти полагалось без отдыха. Совсем. Лишь изредка мы останавливались ровно на пять минут — только для того, чтобы глотнуть воды. Даже взрослые мужчины не выдерживали, сходили. Но я дошел. Дошел, наверное, только потому, что рядом был отец. Он не мог мне помочь ничем, но он шел где-то рядом, и я не представлял, как бы я мог позволить себе упасть и не встать.

В конце мне стало плохо. Ноги распухли. Я сидел, и у меня лились слезы, я не мог снять сапоги. Я жутко боялся, что отец подойдет как раз в эту минуту. Это было единственное, чего мне не хотелось. Наконец я их стянул и увидел ноги. Даже слезы перестали литься — это были не мои ноги, я не узнал их. Я испугался, как пугаются только в детстве: неужели они останутся такими навсегда?

Но когда начался второй такой же поход и отец осторожно спросил, пойду ли я, я опять пошел. Теперь мне кажется, я стал взрослым, когда глядел тогда на свои ноги и не узнавал их, в тот первый раз...

А когда мне исполнилось двенадцать, отец уже взял меня на сафру. В свою бригаду. Как взрослого.

— Я тысячу раз читал о сафре, — говорил он, — но это нельзя описать. Это нельзя понять, не увидев хотя бы раз.

Мне приходилось слышать о какой-то чуть ли не природной лени в натуре латиноамериканцев. Когда я это слышал, во мне все горело. Мне хотелось взять этого говорящего за шиворот, оттащить туда и сунуть ему в руки мачете. Месяцев на шесть. И чтобы часов по тринадцать в день. Потом я спросил бы его о тех, кто работал с ним рядом...

— И вы бы снова дрались?

— Может быть.

— Хуан, а в это время отец уже не работал плотником?

— Работал. Но во время сафры большинство меняет свою работу. Если, конечно, ее можно оставить. Я не встречал на Кубе человека, который бы не понимал, что такое для нас сахар. Думаю, такого нет, даже ребенка.

Я работал тогда с отцом четыре месяца. Вначале только таскал тростник. Но под конец отец мне дал мачете и стал учить рубить.

— И сколько весит мачете?

— Около килограмма... Вообще-то пользы от меня было мало. Но для меня это было как тот поход милисиано — надо было дойти до конца. Потом я был на сафре восемь раз — по четыре-шесть месяцев. А в семидесятом году — семь. Каждый кубинец всегда скажет точно, сколько раз он был на сафре. Это тоже кое-что значит. Я же, говорю, стал не по годам взрослым. Это пригодилось мне даже тогда, когда отец уходил от нас...

Ему сделали операцию, но лучше не становилось. Из позвоночника болезнь поднималась выше. Так прошло три года. Боль карабкалась по нему, по живому. Из спины она пришла в мозг. Когда его увезли в больницу в последний раз, я работал на сафре. Меня вызвали. Это были самые страшные двадцать пять дней в моей жизни. Отец уже не узнавал никого. Но мне казалось, что меня-то он должен узнать. Я не мог поверить, что он не узнает меня, не верил все двадцать пять дней... Он не узнал.

Я и сейчас думаю, просто верю: пойди он к врачам на несколько лет раньше, и все было бы хорошо. Он жил бы и сейчас. Но ему и в голову не приходило пойти, такой он был человек.

Мне тяжело вспоминать, но если говорить о характере, то это действительно было для меня главным. Люди моего возраста как бы сложены из двух поколений. Мы рано стали взрослыми. Много раньше, чем это нужно бы. Куда раньше, чем это происходит у тех, кто родился после революции. Можно об этом сожалеть, но и понимать тоже надо. Не думаю, что надо забывать свое детство, даже если оно тяжелое. Я тоже когда-нибудь буду отцом, и мне придется учить своего сына, придется рассказывать и о прошлом. Думаю, это надо будет делать осторожно.

И все-таки, как ни странно, но я не могу сказать, что у меня было такое уж плохое детство. У других было хуже. Даже стыдно сравнивать. Что значит желать игрушку и не иметь ее? Другие-то имел. Дешевле, но имел. Я не работал с шести-семи лет, а дети крестьян до революции работали именно так, и единственной их игрушкой было мачете. И потом я учился. А сколько людей моего возраста только сейчас кончают среднюю школу или совсем опоздали учиться. Так что, если сравнивать меня с ними, то можно сказать, что у многих просто не было детства. У их детей оно появилось. Очень много революция сделала для детей. Я даже могу сказать, что все, что сделала революция, она сделала для детей.

— Хуан, вы действительно жили на переломе. Что, на ваш взгляд, нового в поколении молодом?

— Во-первых, характер. У тех, чье детство прошло до революции, был совсем другой характер. Человек, который был, например, пятнадцатилетним в шестьдесят четвертом году, он был уже взрослым. Он уже страдал. Он уже был мужчиной. Но он был неширок. Мир для него был куда уже, он мало ощущал этот мир как окружающий его. Сегодняшние пятнадцатилетние — это уже образованные люди, они могут говорить обо всем. Школа их научила настоящему взгляду на мир. И выходит, эти ребята умом взрослее тех. Выходит, они по-разному взрослые. По-моему, у нынешних даже хороших черт больше. Может быть, потому, что меньше плохих. Ранняя взрослость — уже ограниченность. А нужда мало кого делает благородным. Новые же более чистые и открытые. У них и товарищества больше. Их коллективизм внушен им воспитанием, самой системой. Жизнь вообще им дается легче.

— Уж не завидуете ли вы им?

— Нет. Но вот, например, сейчас существует пионерская организация. Она образовалась в шестьдесят первом году. Мне было одиннадцать. Я еще дрался. Я даже не подозревал тогда, что может быть какая-то детская организация, которая учила бы меня быть человеком общественным, а не человеком для себя, в лучшем случае для друга, для семьи. А нынешних даже товариществу учат с самого детства. Думаю, даже революционерами тогдашнее поколение было скорее за счет эмоций, а революционность нынешних уже и от сознания. Вот огромная разница.

— Хуан, какой у вас диплом?

— Проект городского молочного завода на сто тонн молока в смену.

— Он интересен и для Кубы?

— Думаю, нет. Пока что нет условий, чтобы построить у нас завод такой мощности. Наверное, я буду преподавать в нашем университете. Меня уже просили об этом.

— И вы хорошо прожили свои пять лет здесь, у нас?

— Как вам сказать... Случись мне приехать сюда нынешнему, я бы жил смелее.

— ?

— Да, да. Немножко бы по-другому вел себя. Я не очень ласковый человек, мне трудно быть открытым. Это не значит, что я плохо прожил свои пять лет. У меня есть друзья, и, значит, я сумел понравиться им. Но здесь нужно быть открытым, а я слишком долго приглядывался. Я потерял время и, выходит, потерял какие-то радости. Все-таки я человек двух времен. Это странно, кубинцы как раз эмоциональны, открыты, и я вроде бы должен быть таким же... Да я такой и есть, но та — первая половина моей жизни... Понимаете?

— Кажется, да.

— Нет, я неточно говорю... Надо быть более чувственным. Понимаете? На улице, в знакомствах, в разговорах — из всего надо брать чувство. Кубинцы дома так и живут. Мне надо было сразу быть кубинцем. Понимаете теперь?

— Настолько, что даже еще спрошу. Но это уже будет действительно последним... Хуан, у вас было пять лет, и вы попали в такое положение. Как не попасть в него нам? У нас будет только десять дней. У нас не будет возможности исправить себя. Как нам сразу попасть в такие отношения, когда сможешь понять как можно больше? Что бы вы посоветовали оставить здесь свое — из нашей натуры — и приобрести кубинское? Хотя бы на десять дней?

Хуан смеется.

— Да, да... Как быть кубинцем, Хуан?

— На десять дней?

— Ну, может, мне понравится, и я им останусь...

— Если серьезно, то чувствуйте себя как дома. Это и будет что надо. Думаю, у вас просто не будет затруднений. Вы же не первые. У нас любят советских людей. И кстати, обязательно сходите на двадцать третью улицу — там как раз и начнется парад фестиваля. Увидите, стоят люди — подходите к ним, не стесняйтесь, ради бога, говорите, спрашивайте... Да все, что хотите. Только не будьте угрюмым. Вот таким: «У-уу...», — показал он. — И первой же девушке, которая вам понравится, скажите какие-нибудь красивые слова.

— Непременно красивые?

— Да. Скажите ей, например, какая она прекрасная...

— И что случится?

— Вот тогда вы будете чистый кубинец.

— А она?

— Она будет смеяться... Может, даже не поглядит на вас, но будет счастлива. Это я вам точно говорю.

Москва

ВЕЧЕРНЯЯ ФОТОГРАФИЯ КАРМЕН С СЕМЬЕЙ

Из гостей мы возвращаемся поздно ночью, и нас провожают братья Хуана — Барбаро и Умберто. Над океаном луна — огромная и слишком яркая, чтобы свет ее был нежен. Узкие улицы полны им, будто налиты сверху до самых краев, до крыш, и гулки, как бывает только ночью, когда звук, родившись от шагов, не знает, куда ему деться, и в растерянности остается за нами — лежать, пока его не сотрет утром шум машин и новых шагов.

Нам всем кажется, что мы знакомы давно и будем встречаться часто и вечно.

На Басаррате мы ищем Южный Крест. Но его нет, он за домами, плоскими, как декорации.

Только что нас поцеловала Кармен. В письме Хуану она напишет: «У нас были твои друзья...» и перечислит всех троих поименно, как и поцеловала, не выделяя никого и выделяя каждого. Так у нее происходит с сыновьями, и их тоже трое. Но не происходит — просто Кармен умеет это. Как лунный свет, нас преследует то чувство, с которым покидают счастливые семьи, — в нем печаль и то неожиданное, ни на чем не основанное чувство, что у тебя тоже так может быть, почему бы нет... Толстой все-таки был не прав — счастливые семьи тоже счастливы по-разному, хотя бы потому, что счастье не возникает сразу и никогда не бывает лишь одним счастьем. Даже та фотография, где счастливая Кармен сидит рядом с Милдред, своей младшей внучкой, совсем не самое лучшее из происходившего вечером. И сидели они совсем не так. Сейчас мы пересадим их... Для этого надо увидеть комнату — странную, с двумя колоннами посредине (это старый особняк каких-то очень богатых покинувших Кубу кубинцев, и Умберто лишь три года назад получил в нем квартиру). Умберто, старший сын Кармен, сидит в кресле, и рад, что все так хорошо, и ему уютно в своей семье, потому что это семья его, и она не перестает нравиться ему, а он ей. Брат его — Барбаро, холостяк, особый предмет беспокойства Кармен («а не пора ли все-таки подумать еще об одной невестке, впрочем, ему видней»), — Барбаро как раз сидит на диване. Но не с таким видом. В нем куда больше иронии, из троих у него, пожалуй, самый быстрый и резкий ум, и недаром он физик. (Ведь это он щиплет маленького Алексиса, а делает вид, будто он совсем ни при чем.) Роза же, жена Умберто, совершенно спокойная в своем счастье и доброте — чудесна, кстати, ее снисходительность к жутким шалостям вполне балованных детей (да на Кубе вообще балуют маленьких детей), — и она на диване.

Но рядом кресло. Вот в нем-то и сидит Кармен, и внучка, очень теплая, уже засыпая, лежит в ее руках, и держит собаку. Получается, что и игрушечная собака тоже на руках у Кармен, и в кресле их получается очень много.

Вот теперь они сидят правильно, и можно разговаривать. (Нельзя же разговаривать с фотографией!)

Распахнув вдруг глаза, Милдред протягивает нам собаку. Но не отдает, сейчас она будет учить нас испанскому.

— Собака, — говорим мы хором. («Будете любить детей — и вас будут любить на Кубе», — говорил Хуан в Москве.)

— Perro, — качает головой Милдред.

«А это?» — означает ее жест.

— Хвост!

— Cola, — хохочет она.

«А это?»

— Голова!

— Cabeza! Cabeza!! — Как это можно не понимать?

— Вы так удачливы в детях, Кармен... Как вам удалось это? Конечно, нельзя этому научить, но рассказать...

Оказывается, непросто и рассказать.

— А кто вам доставлял больше всего неприятностей?

Кармен оглядывает сыновей, и Умберто шутливо поеживается.

— Вот он, — показывает она на Умберто. — И еще Хуан, — добавляет Кармен, — они дрались... Нет, не очень, не совсем, — взмахивает она руками.

— А когда вы почувствовали, что все уже благополучно с ними и вас ждет только хорошее?

— Когда они пошли учиться и каждый выбрал свое... Я поняла тогда, что мы с отцом все делали правильно. Это ведь никогда не знаешь заранее... И вокруг все стало ясно, и мы поняли, что у них все так и будет. После революции.

— И вы любите кого-нибудь из них больше?

— Нет... Или все-таки да...

Оказывается, с любовью в большой семье все сложней. Ее не существует — ровной и постоянной — этой любви. Сопротивляются ли остальные дети или возмущены, но она во всякий день отдается тому, кому сейчас хуже. Любовь ему нужней, и этим все решено.

— Вы знаете, — говорит Кармен и гладит щекой головку Милдред, — были времена, когда мне больше всего надо было любить их отца... Знаете, что такое для мужчины не работать. А его не брали тогда никуда. После того как узнали, что он был в Советском Союзе. И после тюрьмы.

— Но ведь вы познакомились с ним позже.

— Да, в сорок первом... Он тогда устроился к нам в больницу. Но не насовсем, его взяли временно. Больницу ремонтировали, и его взяли плотником. Он был очень хороший плотник.

— И вы не испугались стать его женой? Ведь вы все знали.

— Но он тоже не испугался. Я работала медсестрой, это была больница для душевнобольных. Нам было очень тяжело с ними, и он всегда помогал мне. Я-то уже привыкла к ним и знала, что их надо любить. А ему было очень трудно... Он не боялся. Кажется, он ничего не боялся... И потом мои родители тоже были коммунистами. Он ведь тоже это знал.

— А как получилось, что он поехал к нам в страну?

— Нужны были люди, которые видели бы вашу страну своими глазами и могли рассказать о ней. Выбрали его.

— И все-таки это был год вашего счастья, Кармен, сорок первый... Что вы тогда знали о том, каким этот год был для мира, для нас?

— Это было далеко, но я знала, идет война... Мы еще до этого собирали деньги, чтобы помочь Испании. Потом собирали для вас... Это были совсем крошечные деньги, я даже не знаю, что на них можно было купить. Не знаю, как наши деньги переправлялись вам, до сих пор не знаю. Но мы собирали их потихоньку, это все было тайной. И люди отдавали последнее.

Она говорила, держа в руках Милдред, и лицо ее купалось в волосах девочки, а та смеялась, не понимая ничего и чувствуя только, как ей бесконечно хорошо.

Между нами уже стоял стол. Разговор наш начал прикасаться к каждому из сидящих, но легко, едва-едва, потому что был вечер, потому что все они были в сборе, — почти все — и были понятны друг другу, как могут быть понятны люди, прожившие много лет вместе без желания расстаться.

Говорили, кто главный в семье, и все смеялись, потому что это и спрашивать не надо было — Кармен даже и не смущалась тем, что все в это время смотрели только на нее, а она оглядывала всех с горделивостью птицы — большой и не очень старой, еще умеющей клюнуть, если такое понадобится. Она действительно немного была похожа на какую-то несуществующую птицу, сидящую в своем гнезде. Вот только вряд ли ей теперь надо было наводить в нем порядок, потому что порядок уже существовал независимо от нее, само гнездо, свитое очень давно, делало все за нее. Собственно, так и происходит в счастливых семьях.

Кармен спрашивала о Хуане — как он там? — и ей приятно было, что ему вполне хорошо и что он все-таки скучает. Даже неизвестно было, что из этого ей приятней. Она никогда не покидала своего дома, Барбаро же учился в Чехословакии, и теперь Хуан был далеко...

— Вы не боитесь отпускать их так надолго?

Она не боялась. «К друзьям же», — говорила Кармен.

— Так он там все-таки скучает? — переспрашивала про Хуана.

— Совсем немного, — отвечали мы. — Как это вы сказали, как они дрались в детстве с Умберто... «не очень, не совсем»... Вот так, наверно.

Еще говорили о том, кто же все-таки из сыновей нежней.

— Он, — и Кармен показала на Барбаро, подмигнув ему.

— И много он написал писем из Чехословакии? Не девушкам, вам?

Она погрозила ему пальцем. Но смущение его было нешутливым. У них была своя игра в жизни, и то, что мы случайно касались этой игры, говорило им совсем о другом.

— Кармен, а вам все равно, какую он приведет жену — темную, мулатку?

— Совершенно! — воскликнула она. — Только бы скорей.

— Я пока воздержусь от обещаний, — отбивался Барбаро.

...Мы прощались. Кармен уже стояла. Очень серьезно и тихо попросила:

— Вы передайте мой поклон вашей стране...

Но как? Нельзя же, в самом деле, стать посреди равнины и поклониться поклоном Кармен Кастро Фемандес.

Она сама знала как.

— Я поцелую вас, а вы там поцелуете кого-то других...

Гавана



«МНЕ НАДО БЫЛО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ»

Из трех сестер — Веры, Надежды, Любви — у нее, кажется, самые большие шансы выжить — она не дает обетов, ей нечего терять, она трепещет внутри себя и, умирая, рождается вновь, не помня прошлого, — она Надежда.

Он говорил что-то похожее, и тогда один из нас спросил, еще смущаясь возможной ошибкой:

— Вы поэт... так кажется... Это правда?

Догадливость не поразила его, потому что была его чертой.

— Но я пишу стихи особенным образом. Пишу и складываю их... И никогда не знаю, когда и кому их прочту. Это стихи о женщине.

— Об одной?

— Их было три. Одну я долго не видел, но, если бы не она, я не увидел бы всех остальных. Сознание во мне только начиналось, появлялось, как свет, я плакал от беспомощности. Я увидел ее сквозь слезы. Может быть, это она спасла меня... Я просил врачей убить меня, потому что уже считал себя мертвым. Я лежал спеленатый, прижатый к постели, без ног, без руки, надо было обтирать меня днем и ночью — все дни и ночи, пока я был без сознания. И еще долго потом... Тогда, в семнадцать лет, я впервые понял, как надо любить женщину. Не мать — любовь к матери приходит ко всем. Рано или поздно, но приходит. Пусть у каждого своя, она настигает каждого. Я же понял, что надо любить женщину.

Вторая была в Ленинграде. Русская старуха, нянька. Кость в ноге загнивает у меня, и ваши врачи, кажется, лучше других лечат это — война, столько похожих на меня... Старуха садилась на мою постель, плакала, вспоминала войну и трогала меня. Она едва прикасалась и плакала не по мне — у нее было много других, по ком надо было плакать, — я только напоминал ей их. Я не понимал, что она говорит, мне рассказали о ней раньше. Но так, как она плакала и трогала меня, могла делать только великая женщина.

И еще в Пушкине — женщина, врач — тоже великая... Если на свете что-то не знает границ, так это женская любовь.

Ему нравилось говорить красиво. Он понимал, что красиво говорящий человек не может избежать общих мест, как плывущий напрямую должен проплыть все течения, ему не избежать их, но как всякому, много говорящему о себе, ему нужна была завершенность, а значит, и красота.

— Но я еще раз говорю и буду повторять до смерти, — сказал он. — Мой первый пример — Алексей Маресьев. Я понял, что он научился жить как хотел, я увидел это и решил, что это смогу сделать и я.

Все, чего не хватало его телу, — бесценной легкости движений, живости неутомленного и здорового тела, легкой беспечности жестов, игры, — все это существовало в его лице. Можно было опустить взгляд и снова поднять... Нет, лицо жило каждым мгновением, восполняя все, чего не хватало телу. Еще ничего не происходило - стоял стол, длинный, пустой, сидели незнакомые ему люди (в жизни своей Фаусто Диас без счета появлялся перед незнакомыми людьми, не знавшими его, не видевшими его раньше и невольно готовившими себя к появлению чего-то полусуществующего как же иначе!), еще никто ничего не спрашивал, в сущности, и неготовый спросить, а в его лице уже было понимание всего этого. Больше того, через мгновение — в молчании — казалось, что он уже знал всех нас. По крайней мере, ничего неожиданного в нас для него не было, и уже непонятно было, кто же с кем встретился: мы ли с ним или он с нами, потому что мы забыли то, как он появился. Забыли то, чего не могли видеть, сидя в комнате за пустым длинным столом и ожидая его, и то, что могли видеть, но по человеческой слабости отказались рассматривать, желая уберечь себя, потому что для человека естественно избегать вида несчастья.

(Между тем на улице двое вынули его из машины, один, самый сильный, с привычной ловкостью взял его за единственную его левую руку и на спине внес его в комнату. Стул был уже приготовлен.)

Теперь перед нами было лицо, разнообразие выражений которого неизмеримо превышало все возможные реакции, которые могли возникнуть в разговоре и возникали у нас. Но главным было то не объясненное никем торжество победы, которую он одержал когда-то один на один и продолжал одерживать до сих пор. Это выражение жило в лице все время, как в ребенке до поры взрослости живет каждое мгновение простая радость того, что он родился, не замутненная жизнью и печалями. Только нам с детства ни за что, лишь в подарок предоставлена радость свободного выбора из всего окружающего нас, он же с рассвета 18 апреля 1961 года должен был или согласиться умереть, или выбирать лишь то, что помогало выжить.

— Маресьеву надо было научиться летать, он уже до этого жил. А мне, — говорил он с невыразимой улыбкой, — надо было научиться жить... Но знаете, когда я впервые увидел Маресьева, я онемел, отнялся язык. То, что я должен был сказать ему, у меня не укладывалось в слова.

— Я оказался на базе «Гранма» 15 апреля, — рассказывал нам Фаусто

Диас. — Это была противовоздушная артиллерийская база. Кстати, прекрасно подготовленная. В основном там были выпускники военной школы Матансис, но были и мы, почти дети. Нас так и называли — «дети базы «Гранма». Наш бой так и не начался. Нас, шестерых, расстреляли два самолета прямо на шоссе, когда мы утром направлялись в Хирон. Это были американские самолеты, очень мощные. Но в тот день наша авиация сбила одиннадцать этих самолетов... Сначала убило Фернандеса, ему было четырнадцать лет, ему разорвало живот. А потом я сразу почувствовал, что меня нет — нет в машине, нет на земле — нигде.

(Тут необходимо отступление. Дело в том, что уже в Москве мы встретились с человеком, который разговаривал с Фаусто пять лет назад. Пять лет — это много, а для живущего каждым мгновением или стремящегося так жить — еще больше. Все, что этот человек узнал тогда, казалось, ничем не отличалось от того, что Фаусто рассказывал нам, и в то же время отличалось сильно. Фаусто Диас стал меньше рассказывать о себе, личное уходило — не терялось, но заслаивалось новым личным, как один день заслаивается другим. Или, еще проще, Фаусто о некоторых вещах не хотел говорить — чтобы жить, их надо было забыть. Забыть надо было о голоде детства и о том, что впервые он наелся в день смерти матери, когда нес ей еду, которую он добывал почти неделю, но еда не пригодилась матери, он застал ее в больнице мертвой, и тогда он съел все, что добыл, сидя под больничным забором и глядя прямо перед собой умершим взглядом матери. Надо было забыть, что в том детстве у мальчика Фаусто было две неисполнимые мечты — иметь большую черную собаку и большой черный пистолет, потому что только с таким пистолетом он мог играть в настоящих ковбоев. Забыть надо было о том, как их машину — тогда, когда они мчались в Хирон, — догоняла бьющая по асфальту струя разрывов, догоняла безумно долго и догнала, располосовав кузов и их. Забыть о том, что Фернандес, которому разорвало живот, перед этим съел и его, Фаусто, порцию риса с цыпленком, он почему-то очень хотел есть. а Фаусто не хотел совсем. Забыть надо было об ушедшем от них отце... Забыть, наконец, еще о многом...)

— Вы хотите все сначала, — сказал он, закуривая. — Но у меня этих начал два... Я не мог писать левой рукой.

(Он не сказал, что в семнадцать лет он вообще не умел писать, и в «Гранма», когда на батарее их учили математике, он только изображал, что что-то записывает. Он не знал букв, он только запоминал — всегда и все запоминал И это тоже надо было забыть.)

Мне надо было стать обыкновенным человеком — с обыкновенными чувствами, с обыкновенной памятью о прошлом

Похоже, он разговаривал не с нами, вернее, не только с нами, но со всеми, с кем ему приходилось говорить раньше и еще придется говорить потом; они тоже будут желать знать все сначала.

Но забыть все невозможно. Забыть все — значит забыть себя. И он помнил слова матери и всегда повторял их буквально, он повторил их и нам: «Самое страшное, что может потерять человек, — говорила она, — это совесть. Это единственное, о чем можно сожалеть».

— Из ее слов у меня осталось мало, — вспоминал он, оглядывая нас. — Еще помню кладбище... В сорок восьмом году — я был совсем маленький, мне не было четырех, — мать взяла меня на похороны. Умер кто-то из лидеров портовых рабочих, я не помню кто, и там было много народу. Это первое в моей памяти большое количество людей, и они собрались, чтобы вспоминать кого-то одного. Дети не собираются, чтобы вспоминать своего товарища. Все происходившее не укладывалось у меня в уме. Это как огромный грустный праздник. И непонятный.

Потом, я знаю, мать вступила в партию. Членами ее были и Фидель, и все монкадисты... У нас в доме стали собираться люди, а я не понимал, почему эти люди, так часто собираясь, отнимают у меня мать. Я злился, не мог выразить свою ревность, вел себя плохо — настолько, что, помню, один человек, как сейчас помню, он был в свитере — дал мне шлепка, хорошего и дружеского. Так может шлепнуть только настоящий мужчина. Мне кажется, это был Фидель. Он бывал тогда у нас в доме, и потом, уже взрослым, я виделся с ним много раз, но мы никогда не говорили об этом — зачем? Мне приятно думать, что это был он. Но я не настаиваю.

Но вскоре мать умерла, и я очутился в таком же положении, как тысячи и тысячи. Мыл окна, машины, полы. Работал в ремонтных мастерских. Делал все, что удавалось найти, пока наконец не устроился работать в типографии. Как у совсем взрослого человека, у меня, как и у многих детей того времени, воспоминания о детстве — это всего лишь перечень работ. У одних этот перечень меньше — они были удачливей, у других больше. Но у всего поколения не было детства. Дети уже становились юношами, а юноши должны были быть мужчинами.

Единственное, что он мог, это учиться. «Сейчас на Кубе, — сказал он, — каждый рабочий должен производить продукцию на четверых. Один из этих четверых — я». Однажды он где-то прочел, что, если человек не может перейти на другую сторону улицы, он стремится пройти по этой стороне как можно дальше. За пять с половиной месяцев он закончил вечернюю школу (на это надо было затратить шесть лет, но время... «В пошлой поговорке, — сказал он, — время — деньги. Время — это жизнь»). Он поступает в предуниверситарий имени Карла Маркса...

— Как вы себя чувствуете сейчас? — спросили мы.

— У меня самый неудобный возраст, — смеется он, — тридцать четыре. Я стар, чтобы начинать учиться, и слишком молод, чтобы учить других...

В семидесятом году он поступает в университет на факультет политических наук. «Я понял главное, — говорит он жестко. — Жизнь человека, вообще людей тесно связана с политическим движением. Не знать одного — значит отказаться от знания другого». Вместо четырех лет он тратит три, время — жизнь... Чтобы выступить с благодарностью к учившим, курс на выпускном вечере выбирает его. Он говорит стоя. (Впереди будет еще один случай, когда он будет говорить стоя — в Москве, в Академии имени Дзержинского: «Я не мог позволить себе говорить перед ними сидя». Он будет говорить пятьдесят минут, покачиваясь на протезах, держась за трибуну, с него будет литься пот.)

— Но я отдавал себе отчет, что общественные науки связаны с более точными.

Он поступает на философский факультет и кончает его.

— В семьдесят четвертом году в Советском Союзе я встретился с сотрудниками Академии наук, и мне посоветовали не разбрасываться. Совет, которого я ждал. Буду откровенен, дилетанту нужны авторитеты. Я говорю об этом так откровенно, потому что, надеюсь, миновал и это.

— Фаусто, у вас ведь должен быть какой-то пример судьбы — в истории, среди философов.

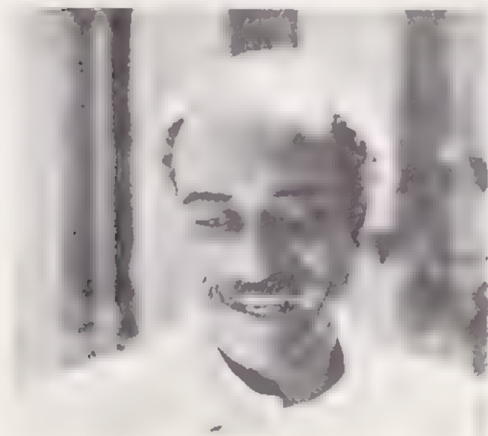
— Безусловно, Маркс — человек, посвятивший «Капиталу» сорок лет жизни.

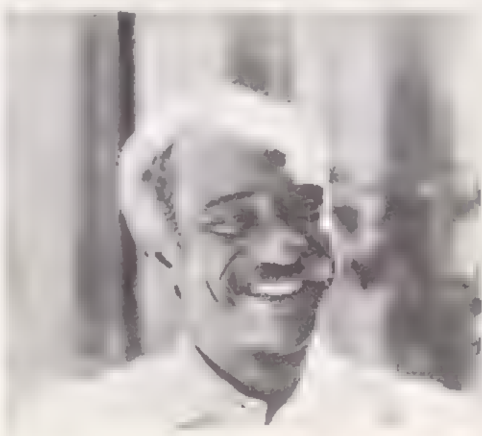
— И вы почетный гость фестиваля...

— Да, и вот что хочу сказать... Фестиваль — это хорошо, это праздник, но главное — его финал. Люди уедут с впечатлениями о Кубе. Приехав со всего мира, они и уедут во весь мир. Двадцать тысяч собственных впечатлений о нашей стране — столько будет молодых людей. Двадцать тысяч умов.

Фаусто восхищенно щурит глаза, он както видит эти умы, все двадцать тысяч, ему нравится иметь дело с мыслью, с умами.

— Это будет работа, — щелкает он пальцами. — Мы готовы к ней.







У НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ «КУБА». ИЗДАНИЕ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ПРЕНСА ЛАТИНА. ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО НА ИСПАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ.



ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ



Цифра 60 и силуэты двух кораблей — «Авроры» и «Гранмы». Этот плакат часто можно было встретить на улицах кубинских городов в год 60-летия Великого Октября.

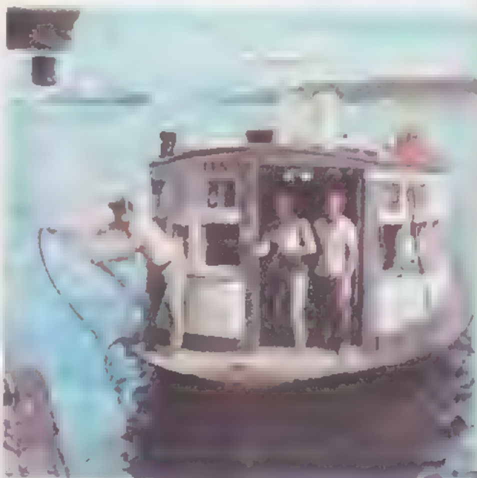
Два корабля — символы победы двух народов, и еще один кораблик — такой маленький, такой негероический на вид...

В 30-е годы рабочие поселка Регла в знак международной солидарности кубинских трудящихся решили назвать один из катеров именем Ленина. И сделали это, несмотря на репрессии, которые обрушились бы на них, если бы власти узнали об этом (для маскировки добавили букву А — как будто это просто женское имя). И вот уже более сорока лет катерок «Ленина» деловито бороздит воды Гаванского залива...

Куба и СССР... Документально установлено, что название острова Куба было известно на Руси уже в 1530 году. Но связи между двумя странами были установлены лишь в XVIII веке. Первым русским путешественником, посетившим Кубу в 1782 году, был Федор Васильевич Каржавин — он пробыл на острове два года и после возвращения на родину, в 1784 году, написал несколько статей о «жемчужине Антил».

Куба знала о существовании России, но, пожалуй, желание узнать по-настоящему эту далекую страну вспыхнуло в 1917 году, когда на Кубу пришла весть о Великой Октябрьской социалистической революции. Желание узнать и желание помочь мужественному народу. Несколько лет назад в одном из московских музеев были найдены любопытные документы — два чека, присланные из Гаваны на имя Ленина и подписанные им в подтверждение того, что сумма получена. Это были деньги, собранные «Комитетом по оказанию помощи России» (он был организован в 1921 году) для голодающих Поволжья...

Обо всем этом рассказал журнал «Куба» в своей постоянной рубрике «Куба — СССР». Там же было написано и о катере «Ленина». Теперь этот катерок, такой маленький, совсем негероический на вид, ставят на прикол в Гаванском порту — он будет охраняться государством как памятник дружбы между нашими странами.



ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ

Апельсины любят, наверное, все. И чай с лимоном. И мандарины, которые пахнут для нас Новым годом, елкой и счастьем. К грейпфрутам мы еще не так привычны, но привыкнуть стоит: в них витамина С... в общем, очень много.

И, надрезав золотистый плод, вспомните этих вот красивых девушек, которые работали в апельсиновых рощах. Эти девушки — учащиеся школ в поле.

Школа в поле? Это школа в поле. А именно: в Хагуэй-Гранде, где находится крупнейшее на Кубе цитрусоводческое хозяйство, выстроено 42 новые средние школы, в которых учатся 23 тысячи человек. Здесь осуществлен на практике важнейший принцип обучения: «Учеба — труд». Суть его в том, что половину учебного времени ребята учатся и половину работают. И, как показала практика, хорошо учатся.

И хорошо работают. Сорвать три апельсина — пустяк, безделка, а вот ребята из Хагуэй-Гранде помогли собрать в прошлом году рекордный для хозяйства урожай — миллион квинталов (46 тысяч тонн). Хотя «помогли» — неточное слово: учащиеся собрали 70 процентов урожая. И посвятили свое достижение XI фестивалю. Фидель Кастро сказал: «Самое лучшее в этом урожае — конечно, воспитание ребят».



КУБИНСКАЯ ХРОНИКА

Ежегодно в Гаване проходят литературные конкурсы издательства «Дом Америки». В этом году была учреждена специальная премия «Молодежь нашей Америки». Ее получила литературная группа из Нью-Йорка «Арейто» за книгу «Наперекор ветрам и качке». Группу «Арейто» создали юноши и девушки, которые детьми были вывезены на чужбину, однако они нашли корни, связывающие их с кубинской революцией. Присуждая премию этой книге, жюри приняло во внимание и литературное мастерство, и политическое значение сборника. Группа «Арейто» передала премию в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В Вашингтоне состоялись гастроли Национального балета Кубы. На пресс-конференции прима-балерина Алисия Алонсо сказала, что эти выступления имели огромное значение: американская публика смогла познакомиться с кубинскими мастерами балета, воспитанными уже после революции. Пресса высоко оценила прошедшие гастроли

МОРЕ МИРЕЙИ

Красавице Мирейе 27 лет, и пять из них она занимается подводным плаванием. А с 1974 года, когда она закончила курс специального обучения, подводное плавание стало ее профессией: она единственная на Кубе женщина — инструктор этого вида спорта.

Аквалангисты говорят: «Интересное лежит на дне морском». И найти это интересное тем, кто отдыхает в Туристском центре в Гуанабо, помогает Мирейя Хименес



ЭФФЕКТ «ИНТЕРКОСМОСА»



В тот год, когда началась «космическая эра», Кубе было не до космоса. В тот год и науки на Кубе практически не было. В космическую эру Куба вступила на два года позже, в 1959-м, когда победила революция и когда стали развиваться связи, в том числе и научные, с социалистическими странами. И сейчас Куба — одна из девяти стран участниц программы «Интеркосмос».

Что дает космос Кубе и что Куба «Интеркосмосу»? Куба — островное государство, и поэтому особую проблему для нее представляет связь с другими странами и континентами. И эту проблему помогает решить «Интеркосмос».

Куба — небольшое государство, поэтому особое значение для нее имеют все же сугубо земные проблемы. И их помогает решить космос: оценка урожайности, разведка полезных ископаемых...

Кубинские ученые участвуют теперь в коллективных экспериментах в области космической физики, сотрудничая с учеными ГДР, Чехословакии, Польши, Венгрии. При помощи аппаратуры, полученной из СССР, ведут исследования ионосферы, используя сигналы искусственных спутников.

И еще одно — в недалеком будущем страна «небольшая, островная» сможет посылать своих граждан в пилотируемые полеты в космическом пространстве.

ГАВАНСКИЙ ТАНЕЦ «ХАБАНЕРА»

«Если у электронного инструмента, у синтезатора, нет национальности, она есть у того, кто им управляет», — пишет известный кубинский писатель и музыковед Алехо Карпентьер в статье «Латинская Америка в музыке».

«Перекрестком цивилизаций» называют Новый Свет. Музыкальные инструменты Европы, Африки, Америки встретились, смешались и согласовались в этой чудесной «музыкальной шкатулке» и, смешавшись, разлетелись из нее по всему миру. Хабанера, аргентинское танго, румба, гуарача, болеро, бразильская самба — в ритмах этих писали свои произведения крупнейшие композиторы Света Старого. Вспомним болеро Равеля, хабанеры Дебюсси и Бизе...

Национальная принадлежность их — в ритме, именно новыми, специфическими ритмами обогатила Латинская Америка мировую музыку: не случайно многие ударные инструменты индейцев, рабов, вывезенных из Африки, вошли теперь в арсенал симфонических оркестров. Так, индейские мараки стали столь характерными американскими инструментами, что на них играют даже ангелы в «божественном концерте», изображенном умельцами колониальных времен в христианских храмах.

И, как пишет Алехо Карпентьер, нечего бояться этого смешения, влияния, и усиленно ратовать за «чистоту национального стиля» — собственное, национальное, культурный багаж народа всегда проявится в творчестве музыканта, на каком бы инструменте и в каком бы ритме он ни играл.

ТЕАТР, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ



Так называют жители Сантьяго-де-Куба драматический ансамбль «Орьенте». Театр этот просто не может закрыться — у него нет занавеса, а сцена — улицы Сантьяго-де-Куба. Ансамбль «Орьенте» выступает в традициях театра «реласьон» (в переводе — «отношения между людьми, связь, сообщение, отзыв»), возникшего на Кубе в начале XIX века. Тогда спектакли этого театра вдохновляли народ на борьбу с испанскими колонизаторами.

Как говорит руководитель ансамбля «Орьенте» Рауль Помарес, жанр «реласьон» вполне современен и сейчас: он может содействовать социально-политической борьбе народа, помогать решению проблем, связанных со строительством социализма. И просто дарить людям хорошее настроение, что отнюдь не противоречит перечисленным выше задачам.

И еще одно искусство — древнее и возрожденное. Ольга Флора и Рамон возродили искусство пантомимы на Кубе. «Народ, который говорит, жестикулируя, — прекрасный материал для изображения повседневных явлений», — считают они

КУБИНСКАЯ ХРОНИКА

В серии «Слово Америки», выпускаемой Центром литературных исследований Дома Америки, самого крупного издательства Кубы, вышел новый альбом «Поэмы о Че Геваре», состоящий из двух долгоиграющих пластинок. На пластинках записаны поэмы 24 латиноамериканских авторов, которые сами читают свои произведения. Среди авторов Хулио Кортасар, Тьяго де Мельо, Николас Гильен, Марта Агирре, Тельма Нава и другие.

По установившейся традиции Национальный институт спорта и физического воспитания (ИНДЕР) назвал лучших спортсменов прошедшего года. Среди них — дважды олимпийский чемпион и рекордсмен мира Альберто Хуанторена.

Лучшим начинающим спортсменом года назван прыгун в длину 19-летний Давид Хиральт.

Писатель Алехо Карпентьер (в журнале «Иностранная литература» № 1, 2, 3 за 1978 год опубликован его новый роман «Превратности метода») удостоен высшей литературной награды Испании — премии Мигеля Сервантеса. Жюри, в состав которого входят члены Испанской королевской академии языка, единодушно приняло это решение.






ГП - ЭФФЕКТ

Сюжет этого фантастического рассказа не столь уж далек от действительности, которая иногда намного опережает фантазию писателя. Недавно мировую печать обошли сообщения о том, что с начала 50-х годов ЦРУ ведет активную разработку химических, биологических и радиоактивных средств, способных управлять поведением человека с определенными целями. Сенатская комиссия конгресса США выяснила, что в общей сложности в этой программе участвовали 185 частных специалистов и 80 научно-исследовательских заведений, включая 44 университета. После окончания расследования американское правительство объявило о прекращении работы над этой темой, но неумолимые факты свидетельствуют об обратном: ЦРУ продолжает проводить эксперименты над людьми, прикрывая их ширмой научных исследований.

Рассказ

Фрэнк ГЕРБЕРТ,
американский писатель

Был упоительный осенний вечер, и профессор Валерио Сабанточе, усаживаясь за длинный стол зала для семинаров в цокольном этаже Мид Холла, думал о том, как этот вечер распишут завтра в газетах и радиопередачах. Они наверняка ввернут что-нибудь о нежной прелести природы, отчего трагедия этой ночи будет казаться еще более ужасной. Сабанточе был полным человеком невысокого роста, к копне его черных волос, казалось, никогда не прикасалась расческа. Круглое, по-детски невинное лицо неизменно вводило в заблуждение людей, его не знавших, конечно, если им сразу же не приходилось испытать на себе грубый юмор и тяжелый взгляд глубоко посаженных карих глаз профессора. Сейчас за длинным столом сидело четырнадцать человек — девять студентов и пять преподавателей. Председательское место во главе стола занимал профессор Джошуа Лэтчли.

— Теперь, когда мы все собрались, — сказал Лэтчли, — я могу сообщить вам о цели сегодняшней встречи. Мы должны принять ужасное решение. Мы... А... — Лэтчли замолчал, покусывая нижнюю губу. Профессор прекрасно представлял, как он сейчас выглядит — высокий, нескладный, лысый человек в очках с очень толстыми линзами... Постоянно виноватое выражение лица служило ему своего рода маской. Сегодня вечером он опять с облегчением подумал, что его вид защищает его от подозрений. Кто бы мог вообразить, за исключением, конечно, Сабанточе, какой невероятный замысел скрывается за этой вполне невинной встречей?

— Нечего мешкать, Джош, — сказал Сабанточе.

— Да... а... да, — промямлил Лэтчли, — мне думается, что профессор Сабанточе и я сможем продемонстрировать вам кое-что сегодня, но прежде чем ознакомить вас с экспериментом, я полагаю, следует дать кое-какие разъяснения.

Сабанточе удивился, почему это Лэтчли сразу не начинает с главного, но, оглядев сидевших за столом, понял — еще не все собрались. Не было доктора Ричарда Мармона. «Неужели он что-то заподозрил и сбежал?» — подумал Сабанточе. Ему стало ясно, что Лэтчли пытается тянуть время, пока отыщут и приведут Мармона. Лэтчли в нерешительности потирал свою сверкавшую лысину. У него не было никакого желания быть здесь. Но что делать, если это необходимо. В эти часы на всей территории технического института Линктона царила обычная для девяти вечера тишина. Это было его любимое время для прогулок вдоль источавшего свежесть пруда, где он, слушая кваканье лягушек и шепот влюбленных парочек, мог безмятежно размышлять об этимологических деривациях...

Он вдруг услышал беспокойное покашливание и шарканье сидевших за столом и понял, что опять позволил своим мыслям завлечь себя далеко от реальности. Лэтчли знал, что славится этим качеством. Он откашлялся.

«Куда, черт возьми, подевался Мармон? Неужели они не могут его найти?» — подумал он.

— Как вы знаете, — сказал Лэтчли, — мы не прилагали особых усилий, чтобы сохранить наше открытие в тайне, хотя и пытались помешать рождению досужих вымыслов и дискуссиям вокруг него на стороне. Нам необходимо было провести до публикации всесторонние исследования.

Вы все, и студенты, и... а... и «подопытные морские свинки», и вы, профессора факультетского комитета, помогали нам... Но, естественно, слухи о том, что мы делаем, успели распространиться и даже стали сенсацией.

— Профессор Лэтчли хочет сказать, — прервал Сабанточе, — что в воздухе запахло жареным.

На лицах студентов, до сих пор пытавшихся скрыть скуку, появилось выражение любопытства.

У старого профессора Инктона начался приступ кашля.

— Есть старая малайская поговорка, — продолжал Сабанточе, — тот, кто играет в пятнашки с дикобразом, не может чувствовать себя спокойно. Ну а нам всем следовало бы знать, что этот дикобраз был еще не совсем трезвым.

— Благодарю вас, доктор Сабанточе, — сказал Лэтчли. — Я полагаю... Я знаю, что это совершенно из ряда вон выходящий случай, и вы все должны разделить тяжесть решения, которое мы примем здесь сегодня. Каждый, кто участвовал в разработке данной проблемы, оказался вовлечен в нее гораздо глубже, чем это обычно бывает при других, не столь примечательных научных экспериментах. И поскольку вас, наших помощников из числа студентов, до сих пор держали, так сказать, в неведении, то, может быть, доктор Сабанточе, как первооткрыватель ГП-эффекта, расскажет вам о его предыстории.

«Приходится тянуть время», — подумал Сабанточе и начал:

— Открытие генетической памяти, или ГП-эффекта, произошло случайно. Доктор Мармон и я занимались поисками гормональных средств для борьбы с излишними жировыми отложениями. Наш Препарат 105 дал отличные результаты на мышах и хомяках. Мы вывели пять поколений без каких-либо очевидных побочных явлений, и я решил попробовать 105-й на себе. — Сабанточе изобразил на лице самокритичную улыбку и добавил: — Вы, может быть, помните, в то время на мне было несколько лишних фунтов жира.

По раздавшемуся в ответ смеху он понял, что ему удалось поднять настроение присутствующих, несколько омраченное напыщенным выступлением Лэтчли. «Джош — чертов идиот, — подумал Сабанточе. — Ведь предупреждал его, чтоб не очень давил. Это дело опасное».

— Было восемь минут одиннадцатого, когда я принял первую дозу, — говорил Сабанточе, — помню, было прекрасное весеннее утро, и я услышал, как в классе у Карла Кихре декламировали какую-то греческую оду. Через несколько минут я почувствовал состояние эйфории, почти опьянения, но оно было очень мягким. Вскоре я начал декламировать вместе со студентами Кихре, дирижируя себе рукой в такт стихам. Вдруг я увидел в дверях лаборатории Карла, из-за спины которого выглядывали студенты, и понял, что читал громче, чем следовало бы.

«Это изумительный древнегреческий язык, но вы мешаете моим занятиям», — сказал Карл.

Сабанточе подождал, пока смех утихнет.

— Я вдруг обнаружил, что во мне одновременно находятся два человека. Я прекрасно понимал, где я и кто я такой, но в то же время был абсолютно уверен, что я солдат-гоплит[1] по имени Загредт, только что вернувшийся из кровавого набега на город Кирены. Это был тот самый «эффект двойственности», который наблюдали многие из вас. Я хранил в себе все чувства и воспоминания этого гоплита, в том числе вполне земное влечение к одной особе женского пола, которая полностью занимала его (мои) мысли. И здесь был еще один момент, который мы все отметили: и его и мои мысли я выражал на греческом, но они постоянно переплетались с моим теперешним сознанием, базирующимся на английском языке. При желании я мог бы тут же переводить. Это незабываемое состояние, когда чувствуешь, что в тебе живут сразу два человека...

— Вы были сразу целой толпой, профессор! — сказал один из старшекурсников. Снова раздался смех. Смеялся даже старик Инктон.

— Я, наверное, показался несколько странным бедняге Карлу, — продолжал Сабанточе, — он вошел в лабораторию и спросил: «У тебя все в порядке?» Я сказал ему, чтобы он побыстрее привел ко мне Мармона... что он и сделал. Кстати о Мармоне, кто-нибудь знает, где он?

В ответ последовало молчание, затем Лэтчли сказал:

— Его сейчас вызовут.

— Итак, — продолжал Сабанточе, — пойдем дальше. Мармон и я заперлись в лаборатории и стали исследовать эту штуку. Через несколько минут мы обнаружили, что можем направлять сознание субъекта в любой слой его генетического прошлого и, таким образом, совмещать его с любым из предков по его собственному выбору. Ну и вы, конечно, сразу поняли, что наше открытие дает новое представление об инстинктах и памяти. Невозможно описать, как мы были взволнованы.

Говорливый старшекурсник вмешался снова:

— Этот эффект исчезал потом так же, как и у нас?

— Приблизительно через час, — ответил Сабанточе, — конечно, как вы знаете, не полностью. Этот чертов гоплит и сейчас во мне, так сказать, вместе с остальной толпой. Немного 105-го, и он снова тут как тут со всей своей памятью до момента за-

[1] *Гоплит — тяжеловооруженный воин пехоты в армиях древних греков и македонян. — Примеч. ред.*

чатия моего следующего предка по его линии. Сюда вплетается еще кое-что, его более поздние воспоминания благодаря параллельным линиям предков, а также братьев и сестер. Но самое главное заключается в том, что изумительная память этого гоплита сыграла дурную шутку с официально принятыми версиями истории того периода. В сущности, гоплит открыл нам, что многое из писаной истории просто чушь.

Старый Инктон наклонился вперед, хрипло закашлялся и сказал:

— Настало ли время, профессор, что-нибудь предпринять по этому поводу?

— В некотором смысле для этого мы и собрались здесь сегодня, — ответил Сабанточе. А сам подумал: «Все еще никаких следов Мармона. Надо еще потянуть время». — Поскольку только некоторые из вас полностью знакомы с нашими наиболее сенсационными открытиями, мы полагаем вкратце сообщить вам о них, — между тем говорил Сабанточе. Он изобразил на лице самую обезоруживающую улыбку и жестом указал на Лэтчли: — Профессор Лэтчли, который помогал нам в исследованиях как консультант-историк, продолжит сообщение.

Лэтчли откашлялся и обменялся понимающим взглядом с Сабанточе. «Неужели Мармон что-то заподозрил? — спросил себя Лэтчли. — Он ничего не мог знать наверняка... но мог что-то заметить».

— Исследователь здесь сталкивается с некоторыми особенностями нашего метода, — начал Лэтчли. — Когда дело касается важного события — ну, скажем, битвы, — мы обнаруживаем широкий набор свидетельств о победившей стороне и часто почти ничего о побежденной. Посредством многочисленных перекрестных проверок даже внутри нашей небольшой группы мы, например, обнаружили чрезвычайно мало воспоминаний, касающихся Трои периода Троянских войн: некоторые из них — воспоминания женщин, мужская же линия практически стерта.

Лэтчли почувствовал движение среди слушателей и испытал минутную ревность. Они не отвлекались, когда говорил Сабанточе. Он подавил виноватую улыбку и сказал:

— Я думаю, вы, наверное, не прочь послушать о чем-нибудь эдаком...

Бог мой, как они оживились!

— Как и предполагали многие, — продолжал Лэтчли, — наши данные точно подтвердили, что Генрих VII Тюдор в самом деле приказал убить двух принцесс в Тауэре... в то же самое время он развернул пропаганду против Ричарда III. Генрих действительно был низкой личностью... хитрый, жестокий, трусливый, кровожадный; политическое убийство было частью его методов правления. — Лэтчли поежился. — Человек он был невоздержанный, и многие из нас — его потомки.

— Расскажи им о Честном Эйбе, — вставил Сабанточе.

Лэтчли поправил очки, тронул пальцем уголок рта и начал:

— Авраам Линкольн. — Он произнес это так, как будто объявил о приходе посетителя, и воцарилась долгая пауза. Лэтчли продолжал: — Мне по-настоящему горько об этом говорить. В детстве Линкольн был для меня самым почитаемым героем. Как известно некоторым из вас, генерал Батлер[1] был одним из моих предков и... Это действительно очень печально. — Лэтчли порылся у себя в кармане, вытащил клочок бумаги и внимательно изучил его: — В споре с судьей Дугласом Линкольн говорил: «Я скажу вам абсолютно честно, что я не одобряю предоставление гражданских прав неграм. Я вообще не одобряю и никогда не одобрял социального и политического равенства черной и белой рас, я не одобряю и никогда не одобрял предоставление неграм права голоса, включение их в состав судебных заседателей и возможность занимать официальные должности, я против смешанных браков между неграми и белыми. Скажу в дополнение, что существует физическое различие между белой и черной расами, которое всегда будет препятствовать их социальному и политическому равенству, и поскольку они не могут быть равны, живя вместе, кто-то должен будет занимать главенствующее положение, а кто-то подчиненное, и я в такой же мере, как и всякий другой, за то, чтобы главенствующее положение было предоставлено белому человеку». — Лэтчли вздохнул и засунул бумажку в карман. — Очень печально, — сказал он.

Сабанточе прервал его:

— Кто из вас еще не понял, как опасны эти игрушки?

Лица сидевших за столом повернулись сначала к нему, а затем снова к Лэтчли.

— Как только к вам попадают показания живого свидетеля, — сказал Лэтчли, — появляется возможность разыскать переписку и другие подтверждающие документы. Удивительно, как люди старались упрятать свои бумаги.

[1] *Генерал Б. Батлер командовал войсками северян в гражданской войне Севера и Юга США 1861—1865 годов. — Примеч. ред.*

Ретивый старшекурсник уперся локтями о стол:

— Чем опаснее игрушка, тем больше людей заметят ее, не так ли, профессор Лэтчли?

«Бедняга и здесь старается вылезти вперед», — подумал Сабанточе. Его ответ предназначался Лэтчли:

— Чем опаснее игрушка, тем рискованней с ней играть.

После этого наступила глубокая тишина, беспокойство нарастало. Заговорил другой студент:

— Где профессор Мармон? Как я понимаю, по его теории, чем больше влияние генетической памяти на сознание, тем больше мы подчиняемся доминанте жестокости наших предков. Вы знаете, он утверждает, что выживают наиболее жестокие, с тем чтобы произвести потомство, а мы как-то пытаемся подавить эту жестокость в нашем нынешнем сознании... или что-то в этом духе.

Старый Инктон, справившись с изумлением, обратил свои мрачные белесые глаза к Лэтчли.

— Пуритане, — сказал он.

— А, да, — сказал Лэтчли.

Сабанточе объявил:

— У нас есть живые свидетели того, как пуритане грабили и убивали индейцев. Зверство. Боюсь, там были и мои предки.

— Чаепитие, — сказал старик Инктон.

«Почему этот старый дурак не заткнется? — удивленно подумал Лэтчли. Тревога, где Мармон, становилась невыносимой. — Может ли быть, что это дважды двойная игра?»

— Почему бы не описать «Бостонское чаепитие»[1]? — спросил Сабанточе. — Здесь есть несколько человек, которые не участвовали в той фазе.

— Да... м-да... — заговорил Лэтчли. — В то время губернатор Массачусетса занимался контрабандой. Все влиятельные лица в колониях занимались тогда контрабандой. Губернатор и все его закадычные дружки получали чай от голландцев. Склады ломились от него. Британская Ист-индская компания находилась на грани банкротства, когда британское правительство проголосовало за субсидию — по теперешнему курсу около двадцати миллионов долларов. Из-за этой... хм... субсидии чай Ист-индской компании ввозился по цене приблизительно в два раза меньшей, чем контрабандный чай, включая даже налоги. Губернатор и его компания стояли перед лицом банкротства. Тогда они наняли бандитов, и те потопили в гавани почти на полмиллиона долларов чая. Интересно отметить, что этот чай был гораздо лучше контрабандного. И еще, губернатор и его дружки включили деньги, уплаченные нанятым бандитам, в стоимость продаваемого ими контрабандного чая.

— Опасные игрушки, — сказал Сабанточе. — А мы еще и не приступили к вопросам религии — Моисей и его ученики, когда они обдумывали десять заповедей... спор между Пилатом и религиозным фанатиком.

— Или один сенатор от южных штатов, чей дедушка был негром с очень светлой кожей, — вставил Лэтчли.

В воздухе сгущалась напряженность. Собравшиеся переглядывались с соседями, беспокойно вертелись на своих стульях.

Сабанточе, заметив это, подумал: «Мы не должны позволить им задавать ненужные вопросы. Мы выбрали неверный путь. Надо было оттянуть время каким-то другим способом... может быть, в другом месте. Где же Мармон?»

— Наша проблема осложняется, как ни странно, точностью, — сказал Лэтчли, — когда знаешь, где искать, то подтверждение найти легко. Свидетельства о предках южного сенатора не подлежат сомнению.

Студент, сидевший на противоположном конце стола, сказал:

— Ну, если у нас есть эти данные, ничто не может нас остановить.

— Хм... мы... — вставил Лэтчли, — финансовая поддержка нашего института затрон...

Его прервал шум за дверью. Двое в форме втолкнули в комнату высокого светловолосого молодого человека в измятом темном костюме. Дверь закрылась, и щелкнул замок. Это был зловещий звук.

Сабанточе вытер платком шею.

Молодой человек, опершись рукой о стену, пытался удержаться на ногах, он с трудом проковылял в противоположный от Лэтчли угол комнаты и рухнул на пустой стул. Комнату заполнил резкий запах виски. Лэтчли уставился на него, испытывая одновременно облегчение и беспокойство. Теперь они действительно были здесь все. Вновь пришедший пристально оглядел

[1] *«Бостонское чаепитие» непосредственно предшествовало войне за независимость в Северной Америке 1775—1783 годов. В декабре 1773 года колонисты отказались покупать чай, который был обложен английским парламентским налогом, и, напав на корабль с чаем, потопили английский груз. — Примеч. ред.*

всех глубоко посаженными голубыми глазами. Длинное лицо с прямым узким ртом казалось еще длиннее из-за необычайно высокого лба.

— Что здесь происходит, Джош? — спросил он.

Лэтчли снова вооружился своей извиняющейся улыбкой:

— Послушай, Дик, прости, что тебя пришлось затащить сюда оттуда, где ты...

— Затащить! — Молодой человек взглянул на Сабанточе и потом снова на Лэтчли. — Кто эти парни? Сказали, что они из университетской полиции, но я никогда их до этого не видел... заявили, что это невероятно важно!

— Я говорил тебе, что сегодня очень важное собрание, — сказал Сабанточе, — ты...

— Важное собрание? — Молодой человек насмешливо улыбнулся.

— Мы должны принять сегодня решение о прекращении работы над нашей темой, — сказал Лэтчли.

За столом раздался вздох изумления.

«Хорошо он сообразил», — подумал Сабанточе. Он посмотрел на сидящих и сказал:

— Теперь, когда профессор Мармон здесь, мы можем рассмотреть этот вопрос и обсудить его.

— Прекра... — начал Мармон и выпрямился на стуле.

Последовала долгая пауза.

Внезапно комната взорвалась жутким шумом — все пытались говорить одновременно. Сабанточе, стараясь утихомирить их, стучал по столу и кричал:

— Ну, пожалуйста!

В неожиданно наступившей тишине Лэтчли сказал:

— Вы даже не представляете себе, какая печальная картина представилась нам, когда мы столкнулись с последствиями этого открытия.

— Последствия? — резко переспросил Мармон. Он покачал головой, и все за столом почувствовали, что он старается избавиться от действия спиртного.

— Позвольте мне обрисовать вам всем только малую часть проблемы, — начал Сабанточе. — На основании того, что нам удалось открыть, наследование некоторых крупнейших состояний в этой стране можно оспорить по закону и с большой надеждой на успех.

— Давайте посмотрим правде в лицо, — сказал Лэтчли, принимая эстафету от Сабанточе, — мы не очень влиятельная группа.

— Одну минуту, — воскликнул Мармон. Он толчком подвинул свой стул к столу. — Банда палачей! Где ваш здравый смысл? У нас есть доказательства на целую шайку мерзавцев! Представляете себе, что все это значит?

Чей-то голос за столом слева от него произнес прозвучавшее как взрыв слово: «Шантаж?»

Лэтчли посмотрел на Сабанточе, поднял брови и четко произнес:

— Вы поняли? Я был прав.

— А почему нет? — заявил Мармон. — Эти мерзавцы шантажировали нас сотни лет.

Сабанточе встал, обошел стол и слегка коснулся плеча Мармона.

— Хорошо. Мы дадим профессору Мармону возможность выступить в роли «адвоката дьявола». Пока он говорит, профессор Лэтчли и я пойдем и принесем фильм, который мы для вас приготовили. Он даст вам ясное представление, против чего мы восстаем. — Он кивнул Лэтчли, они направились к двери, стараясь идти не слишком быстро. Сабанточе дважды постучал по панели. Дверь открылась, и они проскользнули между двумя стражами в форме, один из которых тут же запер за ними дверь.

— Сюда, пожалуйста, — сказал другой.

Они прошли через холл, слыша, как голос Мармона постепенно замирает за ними.

— Эти подлецы всегда держали под контролем учебники истории и суды, и деньги, и военных, и каж... — Расстояние превратило его голос в едва различимое бормотание.

— Чертов коммунист, — проворчал один из стражников.

— Все это в самом деле кажется такой чепухой, — сказал Лэтчли.

— Давай не будем дурачить самих себя, — пробурчал Сабанточе, пока они поднимались по лестнице к боковому выходу из здания, — когда корабль тонет, ты спасаешь, что можешь. Я думаю, Епископ объяснил все достаточно ясно: Господь бог испытывает каждого человека, и это есть высшее испытание веры.

— Высшее испытание, конечно, — повторил Лэтчли, пытаясь не отставать от Сабанточе. — Боюсь, придется согласиться с тем, что открытие привело бы только к хаосу, разрушению, анархии.

— Ну конечно, — ответил Сабанточе, проходя через внешнюю дверь, которую придержал для них еще один стражник. Лэтчли и охранники шли за ним.

Сабанточе сразу же заметил, что свет на территории всего университета погашен. «Хотят представить дело так, будто испортилось электричество. Они, вероятно, подключили Мид Холл к аварийной сети, чтобы мы ничего не заметили».

Один из стражников шагнул вперед и, коснувшись руки Лэтчли, сказал:

— Пройдете по дорожке через площадку к Медицинскому колледжу. Войдете в Вэнс Холл через заднюю дверь. Вам придется поторопиться. Времени осталось немного.

Казалось, в окружающей их тени движется множество каких-то непонятных фигур. Один раз в лицо им блеснул свет фонаря и мгновенно погас. Прозвучал чей-то голос из темного угла здания:

— Сюда, вниз. Быстро.

Им помогли спуститься вниз по ступенькам: одна дверь, тяжелые занавеси, другая дверь, наконец они в небольшой скудно освещенной комнате. Сабанточе узнал ее — склад медоборудования, из которого, очевидно, поспешно все вынесли. Справа от них на полке стоял маленький ящик с компрессорами. Комната была полна табачного дыма и запаха пота. Силуэты по крайней мере дюжины мужчин смутно вырисовывались в полумраке. Один с тяжелыми челюстями и звездами бригадного генерала на плечах поднялся навстречу Сабанточе и сказал:

— Рад, что все обошлось для вас благополучно. Они все теперь в том здании?

— Все до одного, — ответил Сабанточе и сглотнул слюну.

— Как насчет формулы вашего Препарата 105?

— Что ж, — Сабанточе позволил себе слегка ухмыльнуться, — я принял некоторые предосторожности, просто чтобы заставить вас вести себя честно. Я разослал несколько копий...

— Мы знаем об этом, — перебил его генерал, — мы задерживали и подвергали цензуре всю корреспонденцию отсюда многие месяцы. Я имею в виду те экземпляры, которые были отпечатаны в кабинете казначея университета.

Сабанточе побледнел:

— Как, они?..

— Вот те, которые мы нашли под полом в его комнатах, — сказал человек у двери, — отпечатаны на той же машинке, сэр.

— Но я хочу знать, делал ли он еще какие-нибудь копии, — рявкнул генерал.

По выражению лица Сабанточе было ясно, что других копий нет.

— Ну... я...

Его прервал Лэтчли:

— Я не вижу необходимости...

Выстрел из револьвера с глушителем, похожий на звук вылетевшей пробки, оборвал фразу. Этот звук повторился еще раз. Лэтчли и Сабанточе рухнули на пол, убитые наповал. Как бы отмечая их смерть, тишину ночи снаружи разорвал взрыв.

Вслед за этим в комнату просунулся человек:

— Стены упали так, как мы планировали, сэр. Термит и напалм сейчас доканчивают дело. И следа не останется от этих грязных коммунистов.

— Хорошая работа, капитан, — сказал генерал, — с ними покончено. Только держите штатских подальше от этого места, пока мы полностью не удостоверимся, что все как надо.

— Слушаюсь, сэр.

Голова исчезла, и дверь снова закрылась.

«Хороший парень, — подумал генерал. Его пальцы нащупали в кармане единственную оставшуюся копию формулы Препарата 105. — Они все хорошие ребята. Как на подбор. Придется использовать какой-то другой способ просеивания людей для работы над нашим следующим исследованием возможностей использования Препарата 105 в военных целях».

— Мне нужно, чтобы эти тела были сожжены дотла, — сказал он, указывая носком ботинка на Сабанточе и Лэтчли. — Уберите их вместе с теми, которые обнаружатся в здании.

Грубый, рычащий голос спросил из темноты:

— Что я должен сообщить сенатору?

— Скажите ему что хотите, — ответил генерал, — я представлю ему свой личный доклад позднее. — И подумал: «Этот препарат можно использовать немедленно — сенатор будет у нас в кармане».

— Чертовы любители негров, — раздался рычащий голос.

— Не говорите плохо о мертвых, — произнес мягкий тенор из противоположного угла комнаты. Человек в черном костюме пробрался к пустому пространству, окружавшему два тела, встал на колени и начал тихо бормотать молитву.

— Сообщите мне, когда пожар кончится, — сказал генерал.

Перевел с английского Б. БОЛЬШУН
Рис. Ю. Тырнова

НАРИСУЕМ СТРАНУ...

В. РАДИН





Нарисуем глиняную дорогу, сухую, бугристую и бурую, как кровавая корка; дорога ползет, огибая покосившиеся телеграфные столбы с оборванными проводами, ржавые скелеты грузовиков на обочине, пальмы, умирающие от пыли, — ползет долго, медленно, тупо, неостановимо — ползет, как зверь с перебитым позвоночником. Нарисуем узкоплечего, смуглого крестьянина, босого, в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, в пропотевшей рубашке и в широких штанах.

Эта страна — Вьетнам.

Нарисуем, быть может, иное солнце, иной воздух, иную дорогу, иные деревья и иные автомобили. Листва деревьев стерильна, будто каждый день садовник протирает ее влажной тряпкой; автомобили, сияющие лаком, скользят на мягких шинах со скоростью сто десять километров в час в морской туман и сиреневый смог.

Эта страна — Италия.

И наконец, горы на горизонте, горы, подступающие к восьмирядному шоссе, горы, сквозь которые пробиты туннели, а в туннелях пахнет сыростью, горы, по которым, натужно гудя, движутся грузовики, горы, над которыми катится солнце, маленькое и медно-красное. Нарисуем людей в индейских пончо, в кавалерийских сапогах — они стоят на обочине и машут грузовикам, но те не останавливаются.

Эта страна — Чили.

Художник, рисуя чужую страну, может увидеть новым, непривычным взглядом то, что для жителя страны давно потеряло новизну и из архитектуры превратилось в дом на углу, из национального типа — в прохожего, которого не запоминаешь.

Художник, если взгляд его не проникнет за экзотические пейзажи, остановится на первом, красочном и веселом плане чужой жизни, нарисует очередные виды из окна туристского автобуса, и там могут быть точно переданный цвет и точно срисованная жизнь, но там не будет страны.

Илья Глазунов проникает за рекламную картинку, за образ страны, созданный специалистами по туризму, профессионалами-путешественниками и путевыми справочниками. Илья Глазунов проникает туда, где кончается иллюзия жизни, созданная и раскрашенная ремесленниками и малярами для романтических туристов, — проникает туда, где начинается грубая, вечная, живая жизнь, сколоченная просто и без украшений.

Но, увидев, запомнив, вымучив и выплеснув на холст поэзию, любовь и красоту чужой (теперь — родной) страны, художник не воссоздает страну в той привычной, бытовой реальности, которая знакома всем жителям страны.

Он создает свою страну!

Страны, созданные воображением — любовью и ненавистью — Мастера, становятся реальностью; мы знаем географическую Испанию (площадь 505 тысяч квадратных километров, население 35 миллионов человек), и мы знаем Испанию американца Хемингуэя (504 страницы романа «По ком звонит колокол»); мы знаем географическую Флоренцию, город на реке Арно с населением в полмиллиона человек, и мы знаем Флоренцию русского художника Коровина, которая умещается на холсте 30×40, и мы знаем ту Россию, которую воспел и высмеял Мусоргский, но мы знаем и другую Россию — француза Равеля.

В 1967 году Илья Глазунов двадцать три дня путешествовал по Вьетнаму. Но не будем попадать во власть слова: что значило «путешествовать» по Вьетнаму в 1967 году? Американская авиация делала по триста пятьдесят самолето-вылетов в день; на улицах Ханоя и Хайфона через каждые пятьдесят метров были врыты в землю бетонные трубы метровой высоты. Пятьдесят метров — это был как раз тот путь, который можно было пропутешествовать более-менее безопасно; когда репродукторы на каждом углу начинали щебетать мелодичными, дружелюбными вьетнамскими голосами, приходилось бежать к ближайшей трубе, залезать в нее, забиваться вниз и там, в прохладной полутьме, ждать конца налета. На американских бомбардировщиках были установлены оптические системы наведения; не было исключено, что какой-нибудь Джон из Южной Дакоты, который считает свой штат вторым по величине государством мира (а первым — Техас), захочет сбросить восемь тонн напалма именно вам на голову[1].

Илья Глазунов создал за 23 дня 150 рисунков — 6—7 рисунков в день. Повторим еще раз число самолето-вылетов: 350 в сутки. Ночные бомбежки, помимо своих прямых целей, преследовали еще одну, общего порядка: они не давали вьетнамцам отдыха, снижали производительность труда, держали страну в непрерывном напряжении, в то время как американцы летали посменно и никаких перегрузок не испытывали. Подсчитаем теперь, что ежечасно над Вьетнамом находилось 15 бомбардировщиков. Учитывая их скорость и невоз-

---

[1] *Чтобы читатель не подумал, что это преувеличение, позволительное в статье о художнике, но к действительной войне отношения не имеющее, я приведу два отрывка из книг людей, которые были во Вьетнаме и писали именно о войне.*

О точности, с какой американцы бомбили Вьетнам, о невозможности спастись от бомб пишет болгарская писательница Блага Димитрова в книге «Подземное небо»: «Вдруг одна деталь возникает в моей памяти: солдаты прячутся в воронках от снарядов, суеверно полагая, что на одно и то же место снаряд не упадет. Сегодня отнята даже эта человеческая надежда на неповторимость случая. Американские сверхтяжелые бомбардировщики осыпают землю гроздьями бомб. Еще дымящиеся воронки углубляются второй, третьей и пятой бомбой... Автоматика исключает всякую счастливую случайность».

О географических познаниях американских солдат пишет итальянский писатель Гоффредо Паризе в книге «Несколько слов о Вьетнаме»: «Один оказался владельцем бензоколонки компании «Амоко» на одной из автострад Небраски. Он ни разу в жизни не выезжал из своего штата; из Небраски прямым сообщением прибыл сюда; не видел Сайгона, понятия не имеет, что собой представляет Вьетнам и где он расположен, политикой никогда не занимался, газет не читает. О Вьетнаме знает только одно: здесь тапу, тапу VC (VC — Вьетконг. — Ред.) и что их надо захватывать живьем». — Примеч. авт.

можность предугадать, что они будут бомбить на этот раз, мы придем к выводу: все свои рисунки Илья Глазунов сделал или под бомбежкой, или в ожидании бомбежки.

Что же увидел художник в стране, на которую круглые сутки, много лет, привычно, как дождь, падали бомбы?

Это был 1967 год; никто не мог сказать, продлится война еще год или еще десять лет, как длилась уже четверть века, но с картин Глазунова на вас глядят люди, не испытывающие сомнений в победе, страха и обреченности. Илья Глазунов рисует девочку, которая выносила детей ненамного младше себя из горящего дома; рисует старика, который сначала воевал с французами (он уже тогда был стар), а теперь воюет с американцами; рисует первую во Вьетнаме женщину-рыбачку; рисует раненого мальчика, рисует студентку.

Мальчику одиннадцать лет; он из провинции Тханьхоа; он ранен шариковой бомбой.

Мальчик лежит в белой, прохладной больничной постели. Верхняя губа его страдальчески вздернулась; глаза остановились от боли. Короткие волосы, кажется, мокры от пота. Мальчик держит здоровой рукой больную. Больная рука забинтована от пальцев до плеча и как-то неестественно изогнута.

Мальчик не скрывает боли.

Мальчику больно.

Мальчик сейчас закричит.

Студентка Во Тхи Зунг из провинции Хабак; ей 17 лет.

Девушка, одетая в рубашку хаки и широкие штаны, смотрит на нас с напряжением и любопытством, как смотрят дети в фотообъектив, когда им пообещают птичку, и маленький кулачок ее крепко сжат. Она заплела свои черные волосы в две косички. На маленьких нежных ногах сандалии. За спиной у девушки висит на холщовом ремне винтовка — большая, с тяжелым прикладом. На голове у девушки соломенная шляпа, обрамленная для маскировки зелеными ветками.

Каждый вьетнамец, вставая утром, прежде всего украшал свою шляпу свежей листвой.

Художник, пытаясь найти кристалл времени, первооснову перемен, с алхимической простотой совмещает на холсте тысячелетнего Будду и колонну новобранцев.

Будда, раскрашенный красным и синим, глядит узкими и надменными глазами — глядит через время, как через стекло.

Колонна новобранцев уходит по желтой пыльной дороге вдоль канала, по которому бабочками скользят паруса.

Будда стоит спиной к новобранцам.

Новобранцы уходят не оборачиваясь.

Илья Глазунов приехал в Чили в мае 1973 года.

Пабло Неруда написал: «Чили — это тихий Вьетнам».

Но летом 1973-го «тихим» Чили было только в том смысле, что страну не бомбили с воздуха; все остальные виды вооруженных действий применялись вовсю.

В Сантьяго, Ранкагуа, Линаресе шли баррикадные бои; где-то в предгорьях Анд взрывали вышку электропередачи, и пятнадцать провинций оставались без света; полемика в печати и на радио велась решительными средствами: редакции обстреливались, а мачты радиостанций взрывались; около города Курико поджигали нефтепровод, останавливались заводы; самым опасным делом в стране стало водить грузовики: на дорогах поджидали засады, а правые распространили листовку: «У Альенде только два выхода: подать в отставку или покончить самоубийством».

У булочных с утра выстраивались очереди; больницы не работали; общественный транспорт бастовал, и рабочие Сантьяго проходили 15 километров в день от дома до завода и 15 километров от завода до дома.

Илья Глазунов рисовал Альенде на митингах — Альенде призывал народ к бдительности, и тысячи кулаков вздымались вверх, и тысячи голосов пели: «Un pueblo unido!»; Илья Глазунов рисовал Альенде в «Ла Монеда» — в том самом Красном зале, где через два месяца капитан Гарридо очередью из автомата убьет Альенде.

Илья Глазунов рисовал шахтеров Лоты, металлургов Уачипато, студентов Консепсьона; рисовал лидеров и министров Народного единства: Фернандо Флореса, Эдгаро Энрикеса, Гладис Марин, Володю Тейтельбойма, Луиса Корвалана, рисовал много, ежедневно, спешно. Пройдет два месяца, и многие из этих людей погибнут, защищая заводы, или попадут на Национальный стадион, или исчезнут в концлагерях Чакабуко и Писагуа, или уйдут в подполье, или спасутся в шведском и мексиканском посольствах и будут жить в эмиграции в Гаване, Париже, Берлине, Москве, и вот тогда все, что нарисовал Илья Глазунов, станет не просто живописью — станет историческим документом.

18 июля 1973 года в Сантьяго открылась выставка работ Ильи Глазунова. Выставку посетил Альенде.

На выставке Альенде сказал: «Меня поразила удивительная творческая работоспособность художника, сумевшего за такой короткий срок раскрыть и передать душу и облик трудовых людей Чили... Это большой мастер».

Лица музыкантов скорбно застыли, и руки не касаются струн. Телега трясется по горной каменистой дороге. Горы встают вокруг: коричневая глина, серый известняк.

Картины Ильи Глазунова — это напряженные цветовые поля; краска кладется сочно и ярко — в этом, быть может, находит выражение тот мальчик Илья Глазунов, чье детство прошло в черно-белом блокадном Ленинграде и в северной деревне, где все краски будто приглушены долгой зимой. Центр напряжения картины всегда там, где цвета больше и где он ярче. Отсюда, из цветового пятна, цвет растекается по картине, всепроникающий, как электромагнитные волны.

Картины Ильи Глазунова всегда политический репортаж; политическая идея и цвет на картинах одно и то же; они неразделимы и одинаково реальны. Цвет драматичен, как политическая борьба, и политическая борьба бескомпромиссна, как цвет. Политическая борьба всеобъемлюща; на картинах Ильи Глазунова нет равнодушных, нет зрителей — все герои картин причастны политической борьбе, потому что, пока есть неравенство прав и вытекающая из этого несправедливость, жизнь в той или иной степени является политической борьбой.

Художник рисует рабочих, крестьян, простых людей разных стран и их вождей. Художник рисует их решимость покончить с несправедливостью, потому что несправедливость бесчеловечна, противочеловечна. Таким образом, конкретная, ежеминутная политическая борьба приобретает на картинах законченность и всеобщность символа: это борьба человека против бесчеловечности.

И тут художник, быть может, возвращается назад, в свое детство.

Но опять же не будем попадать во



власть слова: что значило «детство» для детей в осажденном Ленинграде?

На сегодняшнем Невском, элегантном, строгом, выдержанном в осенних тонах проспекте, вдруг видишь такой странный кричаще-желтый плакат с черными буквами. Черные буквы говорят: «Эта сторона улицы опасна при обстреле». Настоящее время удивляет и не дает сначала понять: ты смотришь на людей, которые идут по этой стороне и по другой тоже, и чувствуешь такой постепенно заползающий в тебя ужас и холод, как если зимней ночью выбежишь без пальто: это наползает время. Ты уходишь по другой стороне; так как плакат написан в настоящем времени и такими предупреждениями лучше не пренебрегать, ты, сколько бы раз еще ни был в Ленинграде, всегда в этом месте будешь переходить улицу.

Войны, которые рисует Илья Глазунов, — продолжение той войны, во время которой он потерял родителей. Рисуя раненого вьетнамского мальчика, Илья Глазунов рисует и свою боль — боль детей блокадного Ленинграда. Мир неделим, и нет своих и чужих войн: художник возвращается в свое детство, рисуя вьетнамского мальчика, и мы путешествуем через время, увидев тот ядовито-желтый плакат на улице сегодняшнего Ленинграда.

Машины все так же уходят к горизонту; воздух, как всегда, пахнет лимоном; люди приезжают в Италию загорать и пить прохладительные напитки и уезжают, когда наступает мертвый сезон: никто ничего не знает о старике с птицей.

Благоустроенный курортный пейзаж отрезан краем холста.

Это иная Италия.

То, что рисует Илья Глазунов, — это репортажи о событиях, о людях, участвовавших в этих событиях, это срезы времени, на которых люди предстают в минуту наивысшего напряжения, в минуту тоски и одиночества.

Один рисунок немыслим без других — это репортажи с продолжением.

Люди на картинах Ильи Глазунова застывают во времени, как иконные фигуры, но время не исчезает в людях, не застывает в них библейской мудростью; время — это воздух репортажа, и картины Ильи Глазунова дышат временем.

Август в Гаване — время песен, звучащих на всех языках Земли, привезенных со всех концов Земли. Перечислить эти песни невозможно. Но одну из них в Гаване будут петь все — это мы знаем точно: Песню XI фестиваля. Написал ее молодой кубинский композитор Майк Порсель.

ЗАВЕТНЫЙ ЦВЕТОК

Русский текст
Л. ВОРОПАЕВОЙ

Если нас с тобой неудержимо
Тянет к солнцу общая мечта,
Если мы с тобой
Повсюду на Земле
Посеем песни о добре,
Значит, дело наше нерушимо,
Пополам и радость и беда.
Будем жить единой и святой борьбой
И общею судьбой.

Пусть над планетой свет свободы взойдет,
Пусть из-под пепла всюду прорастет
Цветок добра, цветок любви,
И пусть цветок этот каждый в саду найдет
Заветный.

Станут стаей чаек наши песни,
Прикоснутся крыльями к сердцам,
Станут ветром, смехом, хлебом и водой
И свяжут мир мечтой одной
И общею судьбой.

Индекс 70781
Цена 25 коп.